

Московские мыслители. Дмитрий Иванович Писарев filosoff.org
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://filosoff.org/> Приятного чтения!

Московские мыслители. Дмитрий Иванович Писарев
(Критический отдел "Русского вестника" за 1861 год).

I

Гейне в одном из своих посмертных стихотворений говорит, что мир представляется молодою красавицею или брокенскою ведьмою, смотря по тому, через какие очки на него взглянуть - через выпуклые или через вогнутые. Если верить на слово поэту, если предположить, что можно надевать себе на нос разные очки и вместе с тем менять взгляды на жизнь и на ее явления, то мы принуждены будем сознаться в том, что наше зрение радикально испорчено вогнутыми очками; чуть только мы попробуем заменить их другими или просто снять их долой, перед нашими глазами расстелется такой густой туман, который помешает нам распознавать контуры самых близких к нам предметов. Наше зрение слишком слабо для того, чтобы охватить все мироздание, но те крошечные уголки, которые нам доступны, кажутся нам такими неизящными шероховатостями и такими глубокими морщинами, которые гораздо легче себе представить на старой физиономии брокенской ведьмы, чем на свежем, прелестном лице молодой красавицы. Мы любим природу, но ее нет у нас под руками; ведь не в Петербурге же любоваться природою; не заниматься же, из любви к природе, метеорологическими наблюдениями над сырою и холодною погодою, не изучать же различные видоизменения гранита и не умиляться же над различными оттенками петербургского тумана. Поневоле придется, при всем пристрастии к безгрешной растительной природе, обратить все свое внимание на грешного человека, который здесь, как и везде, или сам страдает, или выезжает на страданиях другого. Как посмотришь на людские отношения, как послушаешь разнородных суждений, словесных, рукописных и печатных, как взглядишься в то впечатление, которое производят эти суждения, то мысль о выпуклых очках и о красавице отлетит на неизмеримо далекое расстояние. Уродливые черты брокенской ведьмы явятся перед глазами с такою ужасающею яркостью и отчетливостью, что иному юному наблюдателю сделается не на шутку страшно; он быстро проведет руною по глазам, в надежде сорвать проклятые очки и разогнать ненавистную галлюцинацию; но галлюцинация останется ярка попрежнему, и юный наблюдатель заметит не без волнения, что вогнутые очки сбросив с его глазами и что ему придется зажмуриться, чтобы не видать тех образов, которые пугают его воображение. Иные, боясь за свои впечатлительные нервы, действительно зажмуриваются и постепенно возвращаются к тому вожделенному состоянию спокойствия, которое было нарушено неосторожным прикосновением к вогнутым очкам; другие, более крепкие и в то же время более увлекающиеся, продолжают смотреть, всматриваться, громко сообщают другим отчет о том, что видят, и не обращают внимания на то, что их речи встречают к себе равнодушие и насмешки в слушателях, что изображаемые ими картины принимаются за галлюцинации, за бредни расстроенного мозга; они продолжают говорить, воодушевляясь сильнее и сильнее; их воодушевление постепенно переходит в их слушателей; их речи начинают возбуждать к себе сочувствие; они волнуют и тревожат, они шевелят группу чувств, вызывают наружу лучшие стремления; вокруг говорящего группируется толпа людей, готовых переработывать жизнь и умеющих взяться за дело; но между тем сам говорящий изнурен колоссальным, продолжительным напряжением энергии; его измучили уродливые образы, на которых он долго сосредоточивал свое внимание; его истомила та борьба, которую ему пришлось выдержать с недоверием и недоброжелательством слушателей; его голос дрожит в обрывается в ту самую минуту, когда все окружающие прислушиваются к нему с любовью и с упованием; герой валится в могилу.

Такова общая биографическая история отрицательного направления в нашей литературе; {1} недаром большая часть писателей, изображавших темную сторону жизни, находили свой труд тяжелым и лично для себя неблагоприятным; недаром Гоголь проводит параллель между двумя писателями; ту же параллель повторяет Некрасов, {2} конечно не из подражания Гоголю, а именно потому, что такого рода параллель естественно напрашивается в сознание и в чувство отрицателя. Тяжела, утомительна, убийственна задача отрицательного писателя; но для него нет выбора; ведь не может же он помириться с теми явлениями, которые возбуждают в нем глубокое физиологическое отвращение; нельзя же ему ни себя переделать под лад окружающей жизни, ни эту жизнь пересоздать так, чтобы она ему нравилась и возбуждала его сочувствие. Стало быть, приходится или молчать, или говорить горячо, желчно, порою насмешливо, волнуя и терзая других и самого себя. Необходимость отрицательного направления начала понимать наша публика. Что само по себе это отрицательное направление представляет патологическое явление, в этом я

Московские мыслители. Дмитрий Иванович Писарев filosoff.org несколько не сомневаюсь; доказывать его нормальность и законность *quand meme* {Во что бы то ни стало (франц.). - Ред.} значило бы доказывать вместе с тем нормальность и законность тех условий жизни, которые вызывают против себя сдержанную оппозицию и глухой протест. Те журналисты, которые подвергают серьезной критике существующие идеи, те писатели, которые выводят в своих эпических и драматических произведениях грязь жизни без выкупающих сторон, без утешительных прикрас, несколько не думают дописаться до бессмертия. Что подумают о них потомки, скажут ли они им спасибо, раскупят ли они нарасхват какое-нибудь пятнадцатое издание их сочинений, все это, право, такие вопросы, которые несколько не занимают честного писателя, честно выражающего свое неудовольствие против разных современных неудобств и странностей. Когда у такого писателя является потребность развить несколько мыслей по поводу того или другого явления, тогда он берется за перо только с одним желанием: чтобы те люди, которым попадется в руки его книга или статья, поняли, какие обстоятельства отразились в процессе его мышления и наложили свою печать на его литературное или критическое произведение. Надо только, чтобы между публикою и писателем существовало такого рода взаимное понимание, по которому бы публика видела и понимала связь между видимыми следствиями и обнаруженными причинами. Писателю надо желать, чтобы его произведение только будило в читателе деятельность мозга, только наталкивало его на известный ряд идей, и чтобы читатель, следуя этому импульсу, сам выводил бы для себя крайние заключения из набросанных эскизов. Такого рода читатели, договаривающие для самих себя то, что недосказано и недописано, начинают формироваться мало-помалу; дайте нашим писателям такую публику, которая бы понимала каждое их слово, и тогда, поверьте, они с величайшим удовольствием согласятся на то, чтобы их внуки забыли о их существовании или называли их кислыми, бестолковыми ипохондриками. Работать для будущих поколений, конечно, очень возвышенно; но думать о лавровых венках и об историческом бессмертии, когда надо перебиваться со дня на день, отстаивая от разрушительного или опошляющего действия жизни то себя, то другого, то мужчину, то женщину, - это, воля ваша, как-то смешно и приторно; это напоминает Манилова, мечтающего о том, как он соорудит каменный мост, а на мосту построит каменные лавки.

Очень может быть, что "Русский вестник", с своею основательною ученостью, с своею эстетическою критикою, с своим солидным уважением к нашей милой старине и к нашему прекрасному настоящему, будет читаться и перепечатываться нашими потомками, которым, конечно, будут совершенно неизвестны имена задорных журналов, печатающих вздор, подобный теперешней моей статье. Мы не гонимся за "Русским вестником", не отбиваем у него прав на бессмертие, не составляем ему конкуренции; мы знаем, что не далеко ушли бы по той дороге, по которой шествуют московские мудрецы; {3} проклятая натура взяла бы свое, и, сквозь чинно отмеренные фразы серьезного беспристрастия, послышались бы звуки сдержанного хохота и негодующей иронии; да нам и нельзя подражать "Русскому вестнику"; нам никто не поверил бы; подумали бы, что мы все это неспроста говорим; стали бы доискиваться какого-нибудь скрытого смысла и доискались бы, благодаря своей догадливости, чего-нибудь такого, о чем мы бы сами и во сне не бредили. Дойдет или не дойдет "Русский вестник" до того храма бессмертия, в который он решительно возбраняет доступ всем писателям, опозорившим себя отрицательным направлением, этого я не знаю; это не мое дело, и я этим вопросом решительно не интересуюсь. Что дает "Русский вестник" для нас, для наших современников, это совсем другой вопрос, и отвечать на этот вопрос я считаю очень не лишним; ведь у "Русского вестника" есть и в наше время читатели; не все же те люди, которые уважали его в первые годы его существования, махнули на него рукой за его литературные подвиги 1861 года. На этом-то основании я и решаюсь посвятить несколько страниц на то, чтобы с точки зрения человека, пишущего журнальную критическую статью в начале 1862 года, перебрать те литературные мнения, которые "Русский вестник" в последнее время подносил своим читателям.

II

Не думайте, господа читатели, чтобы я написал вам полемическую статью; когда я беседовал с вами о сатирической бивальщине Гермогена Трехзвездочкина, {4} я не полемизировал с автором этого произведения; полемизировать с "Русским вестником" так же невозможно, как полемизировать с автором "Победы над самодурами". У г. Трехзвездочкина свое оригинальное мирозерцание, несходное с мирозерцанием какого бы то ни было другого обыкновенного смертного; у сотрудников "Русского вестника" также совсем особенное мирозерцание; если бы я вздумал спорить с ними, то наш спор

Московские мыслители. Дмитрий Иванович Писарев filosoff.org можно было бы сформулировать так: я бы стал доказывать этим господам, что они смотрят на вещи сквозь выпуклые очки, а они с пеной у рта стали бы уверять меня в том, что я имею глупость смотреть на вещи сквозь вогнутые очки; я бы кротко попросил их снять на минуту очки; они обратились бы ко мне с тем же требованием, пересыпая его бранными возгласами и убийственными намеками; кончилось бы тем, что, наспорившись досыта, мы замолчали бы, не сблизившись между собою в мнениях ни на одну линию; спор наш привел бы к таким же плодотворным последствиям, к каким приводит всякий спор, происходящий между людьми различных темпераментов, различных лет и, вследствие этих и многих других различий, несходных убеждений. Кроме того, сражаясь с "Русским вестником", я находился бы в самом невыгодном положении; "Русский вестник" победоносно развернул бы, на удивление всей читающей публики, полное свое исповедание веры, подвел бы, где бы понадобилось, цитаты, тексты и пункты, ссылки на авторитеты всех веков, не исключая XIX-го, засвидетельствовал бы мимоходом свое почтение той или другой великой идее и умилится бы над непризнанными заслугами какого-нибудь великого, но неизвестного России русского деятеля. А я? Что бы я ответил на все эти золотые речи? Я чувствую, что у меня оборвался бы голос при первых моих попытках оправдываться или защищаться. непременно бы оборвался, и я бы замолчал. Вот видите ли, "Русский вестник" стоит на положительной почве, крепко упирается в нее ногами, скоро срастется с нею, и эта почва не выдаст его в минуту скорби и борьбы. А мы - что такое? Мы - фантазеры, верхогляды, говоруны; мы на воздушном шаре поднялись, а ведь воздушный шар, как говорит объявление "Времени", {5} тот же мыльный пузырь. Так куда же нам бороться с "Русским вестником"? Повторяю вам, у меня оборвут голос в ту самую минутку, когда я попробую основательно возражать мнениям "Русского вестника". Да и к чему, для кого возражать? Если мои читатели не сочувствуют тем идеям, которые я выражал в моих статьях, то мне всего лучше не только не возражать "Русскому вестнику", но и совсем не писать. Если же мне сочувствуют, то мне будет совершенно достаточно передать, по возможности верно, литературные мнения "Русского вестника", для того чтобы высказать то, что лежит у меня на душе. Положим, что я воротился из какого-нибудь дальнего путешествия; положим, я посетил Персию и чувствую желание передать русской публике вообще и читателям "Русского слова" в особенности мои путевые впечатления; я, конечно, для полноты, верности и живости картины сочту необходимым воспроизвести те бытовые особенности, которые почему бы то ни было поразили мое воображение и врезались в мою память. Но я никак не поставлю себе в обязанность полемизировать против описываемых персидских обычаев; было бы и смешно и утомительно, если бы я описывал свои путевые впечатления так: "Персияне курят кальян; я нахожу, что гораздо лучше курить сигареты. Персияне запирают своих жен в гаремы; это возмутительный обычай, и я, как поборник эмансипации женщины, заявляю перед моими читателями мой торжественный протест против такого варварского устройства семьи". Вообразите себе, господа читатели, что я отправляюсь обозревать "Русский вестник" совершенно так же, как бы я мог отправиться обозревать Персию. У меня с "Русским вестником" так же мало общего в тенденциях, мнениях и литературных приемах, как в моих вседневных привычках мало общего с привычками какого-нибудь Аббаса-Мирзы. Мы, грешные, вязнем в тине и барахтаемся среди всяких нечистот, а "Русский вестник" идет себе ровною дорогою и неспешною поступью пробирается к храму славы и бессмертия. Об чем же нам с ним спорить? Мы просто будем рассматривать его с живейшим любопытством и с напряженным вниманием, как рассматривают гостя из иного мира, создание, отличающееся особым сложением и подчиняющееся особым физиологическим законам. Установив раз навсегда такого рода спокойно-наблюдательные отношения к мнениям "Русского вестника", я намерен во всей последующей части этой статьи дать только фактический отчет о моих наблюдениях, хронике моих заметок.

Не ручаюсь, впрочем, и за то, чтобы кое-где, ошибкою, не прорвалось и критическое замечание.

III

В 1861 году в "Русском вестнике" совершилось немаловажное изменение. "Современная летопись" оторвалась от книжек журнала и превратилась в еженедельную газету. {6} Это событие, само по себе достопримечательное, повело за собою следующие, еще более достопримечательные последствия. Во-первых, книжки "Русского вестника" стали опаздывать с лишком на целый месяц; во-вторых, в состав книжек вошел новый отдел под заглавием: "Литературное обозрение и заметки"; в этом отделе редакция ж сотрудники "Русского вестника" стали делиться с публикою своими взглядами на положение

Московские мыслители. Дмитрий Иванович Писарев filosoff.org
и события текущей литературы, и мы, благодаря этому обстоятельству, узнали много нового и любопытного.

В первой же книжке "Русского вестника" за 1861 год, в статье "Несколько слов вместо современной летописи", {7} редакция отнеслась очень сурово к тем журналам, "где с тупым доктринерством или с мальчишеским забиячеством проповедовалась теория, лишаящая литературу всякой внутренней силы, забрасывались грязью вез литературные авторитеты, у Пушкина отнималось право на название национального поэта, а Гоголю оказывалось снисхождение только за его сомнительное свойство обличителя" (стр. 480). Этих уголовных преступников против законов эстетики и художественной критики редакция "Русского вестника" обещала преследовать со всею надлежащею строгостью. "Мы не откажемся также, - говорит она, - от своей доли полицейских обязанностей в литературе и постараемся помогать добрым людям в изловлении беспутных бродяг и воришек; но будем заниматься этим искусством не для искусства, а в интересе дела и чести" (стр. 484). Не могу удержаться, чтобы в этом месте не заявить "Русскому вестнику" моего полнейшего сочувствия; великие истины понятны и доступны каждому, начиная от развитого деятеля науки и кончая простым, бедным тружеником; ловить беспутных бродяг и воришек из любви к искусству не согласится не только редактор "Русского вестника", но даже и простой хожалый; даже и тот понимает, что этим искусством надо заниматься в интересе дела, т. е. чтобы получать казенный паек и жалование, или в интересе чести, т. е. чтобы дослужиться до унтер-офицерских нашивок. Конечно, редакция "Русского вестника" понимает интересы дела и чести не совсем так, как понимает их хожалый, может быть, даже не так, как понимает их английский полисмен; масштабы не те; между хожалым, сажающим в будку бездомного пьяницу, и русским ученым, издающим уважаемый журнал {8} и принимающим на себя, в интересе дела и чести, свою долю полицейских обязанностей в литературе, лежит, конечно, неизмеримое расстояние, неизмеримое до такой степени, что бедный хожалый, не привыкший группировать явления и сортировать их по существенным признакам, никогда не дерзнул бы подумать, что между ним и редактором ученого журнала есть так много общего. Признаюсь, я в этом отношении разделял неведение хожалого; я до сих пор думал в невинности души, что между обязанностями хожалого и занятиями литератора нет ни малейшего сходства; такого рода образ мыслей объясняется отчасти тем, что я не читал статью г. Громеки: "О полиции вне полиции", {9} бросающую, по всей вероятности, яркий свет на этот запутанный вопрос, отчасти тем, что я был очень молод и ветрен в те счастливые годы, когда газета "Северная пчела" находилась под ведением прежней своей редакции. {10} - Я думаю, впрочем, что я и впредь останусь при своем прежнем неведении, несмотря на то, что это неведение очень многим может показаться забавным и даже идилическим. На русском языке существует поговорка: "с своим уставом в чужой монастырь не ходят". Эту поговорку можно перевернуть, и она от этого ничего не потеряет. Чужой устав, введенный в свой монастырь, может также оказаться в высшей степени неуместным; поэтому, не стараясь навязать редакции "Русского вестника" малейшую частицу моих понятий, я не буду стараться о том, чтобы заимствовать что бы то ни было из ее своеобразного мирозерцания. Я уже предупредил читателей: мы вступаем в новый мир, в котором все, начиная от крупнейшего травоядного животного и кончая мельчайшею букашкой, должно возбуждать удивление простого наблюдателя и лихорадочную любознательность зоолога. Мы с вами, господа читатели, простые наблюдатели, и потому мы просто будем удивляться:

Куда на выдумки природа торовата!

и заранее выражаем отчасти смелую надежду на то, что, выходя из кунсткамеры, нам не придется сказать с грустным чувством неудовлетворенного любопытства:

Слона-то я и не приметил!

Может быть, то обстоятельство, на которое я указал при самом входе в кунсткамеру, есть именно тот слон; может быть, мы сразу попали на самое характерное место; в таком случае мне остается только пожалеть, что я не естествоиспытатель; если бы к этому месту приложить анатомический нож 'и микроскоп, если бы исследовать его состав путем химического анализа, то могло бы открыться много любопытного; мы узнали бы законы питания, органы и отправления того организма, который находится перед нашими глазами; все это могло бы случиться только в том случае, если б я был естествоиспытателем; но я просто ротозей, описывающий внешнюю сторону явления, и потому, представив факт на рассмотрение читателей, я принужден идти дальше, хотя

Московские мыслители. Дмитрий Иванович Писарев filosoff.org
чувствую, что в представленном факте много необъясненного.

Беспутные бродяги и воришки, слоняющиеся по пустынным полям нашей литературы, повергают редакцию "Русского вестника" в самое мрачное раздумье.

"Ни одна литература в мире, - восклицает она, - не представляет такого изобилия литературных скандалов, {11} как наша маленькая, скудная, едва начавшая жизнь, литература без науки, едва только выработавшая себе язык".

Ну, вот наша литература выработала себе язык и на радостях показывает его на все четыре стороны, встречным и поперечным, а эти встречные и поперечные обижаются, не понимают шутки, жалуются: "Она нас дразнит; это личность, это - оскорбление". Кто ж в этом виноват? Вольно им оскорбляться и вольно ж им, если они так обидчивы, смотреть на этот язык, который так добродушно показывает им наша литература. Когда наша литература выработает себе науку, она, может быть, вместе с языком будет показывать и науку или что-нибудь другое, смотря по обстоятельствам. А покуда ведь, кроме языка, нет ничего. Ну, так что же делать? На нет и суда нет!

Впрочем, я вообще не понимаю, какое отношение имеет? отсутствие науки к присутствию литературных скандалов. Сколько мне кажется, редакция "Русского вестника" под названием литературного скандала подразумевает разные печатные разбирательства о литературных и нелитературных предметах.

Слово _скандал_ дает нам почувствовать, что редакция "Русского вестника" входит в роль и готова с полным усердием взять на себя свою долю полицейских обязанностей. Скандалом, на языке образованной полиции, называется, как известно, всякое происшествие, нарушающее обычный ход действия в каком-нибудь публичном месте и возбуждающее в собравшейся толпе зевак какие бы то ни было толки. Если такого же рода событие произойдет на арене нашей литературы, то "Русский вестник", конечно, не станет калякать с зеваками, а примет именно ту позу, которую в подобном случае обязан принять исправный член благоустроенной полиции. Это я понимаю, но попрежнему продолжаю не понимать, почему отсутствие науки обуславливает собою присутствие скандалов. Мне кажется, что самая лучшая лекция по гражданскому праву не заменит вам того судебного заседания, в котором решается ваш процесс. Самое лучшее исследование о причинах зубной боли не заменит вам в минуту страдания нескольких капель опиума. Точно так же вся наука "Русского вестника" не заменит вам не оцененного права обратиться к суду общественного мнения, когда вы почувствуете себя несправедливо оскорбленным. Наука - вещь хорошая, но она в своей отвлеченности никак не может заменить нам своих практических применений к жизни. Какое бы великолепное исследование вы ни написали, а это исследование никак не выручит вас в том случае, когда вам понадобится обратиться к суду общественной гласности. Конечно, если те отвлеченные истины, которые вы будете развивать в научном трактате о нравственной философии, войдут в плоть и кровь всех людей, живущих на земном шаре, или по крайней мере в России, то вам не придется обращаться к суду гласности и поднимать литературные скандалы, потому что все будут уважать ваши права; но ведь согласитесь, тут долга песня; пока солнышко взойдет, роса глаза выест. Если даже литература наша создаст себе науку, то от существования науки еще не прекратятся скандалы. С прекращением же их наступит такой золотой век, о котором мы теперь не можем себе составить и приблизительного понятия; в этом золотом веке исчезнет потребность в литературной полиции. Кто знает? Может быть, вместе с этой потребностью исчезнет и потребность в "Русском вестнике" вообще. Теперь не то. Скандалы неизбежны, потому что вам на каждом шагу представляется неотвязная дилемма: терпеть насилие или подымать крик; а иногда приходится даже делать в одно время и то и другое. Теперь приходится удивляться тому обстоятельству, что "Русский вестник" жалуется на обилие скандалов. Разве было бы лучше, если бы несправедливые поступки проходили без огласки, если бы нелепые мнения принимались без спора? Восставать против обилия скандалов - значит, другими словами, проклинать зарождающуюся гласность. Если бы, приступая к обзору "Русского вестника", я не вошел в иной мир, то, мне кажется, я осмелился бы назвать эту вещь проявлением обскурантизма. Но ведь опять-таки: с своим уставом в чужой монастырь не ходят. У нас это называется обскурантизмом, а у них, в "Русском вестнике", это, может быть, именуется совсем иначе: серьезностью, солидностью, ученостью или еще как-нибудь позамысловатее. Поэтому я удержу язык свой в должном повиновении, несмотря на то, что я его выработал и что меня ужасно разбирает охота показать его во вею длину противникам

Московские мыслители. Дмитрий Иванович Писарев filosoff.org
гласности, какой бы чин они ни занимали на иерархической лестнице
литературной полиции.

IV

Приступаю к февральской книжке и встречаю на первом плане литературного обозрения статью загадочного содержания под многообещающим заглавием: "Старые боги и новые боги". {12} Судя по этому задорному названию статьи, можно было бы подумать, что "Русский вестник" вступает в ряды наших современных идолоборцев и старается сбить с пьедесталов тех Перунов и Волосов, которые, несмотря на честные усилия науки, еще до сих пор красуются в нашем неустановившемся мирозерцании. Действительно, в этой статье есть отдельные фразы, от которых не отказался бы ни один из свистящих журналов. {13} "кто выдает себя за мыслителя, - говорится между прочим в этой статье, - тот не должен принимать на веру, без собственной мысли, ничего ни от г. Аскоченского, ни от Бюхнера, ни от Ивана Яковлевича, ни от Фейербаха". С этой мыслью нельзя не согласиться, если принять эту мысль в полной ее отвлеченности; можно только заметить, что два имени, вставленные в эту фразу, не гармонируют с общим ее содержанием; когда произносишь имена Бюхнера и Фейербаха, тогда вовсе не надо прибавлять то, что от них не следует ничего принимать на веру: это само собою разумеется. Как вы примете что-нибудь на веру от такого человека, который вовсе не хочет, чтобы вы ему верили, и убеждает вас не ссылками на авторитет, а доводами и аргументами? Эти доводы могут быть неудовлетворительными; слушая того мыслителя, который представляет эти доводы, вы можете не заметить их неудовлетворительности и впасть в ту ошибку, в которую впадает сам мыслитель. Но ошибка в процессе мысли не беда. В этом случае человек нечаянно упускает что-нибудь из виду, а не умышленно зажимает глаза и не говорит: я и смотреть не хочу. Если бы Фейербах или Бюхнер увидели последнее настроение в ком-нибудь из своих адептов, то, вероятно, они или отвернулись бы от этого субъекта, или посоветовали бы ему обратиться к какому-нибудь известному психиатру за помощью и советом. Человек, имеющий склонность принимать чужие мысли на веру, никогда не сделается последователем Фейербаха и Бюхнера; по дороге к их учению он встретит великое множество школ и направлений, которые затащат его к себе именно потому, что они очень многое передают на веру. То возражение, что учение Фейербаха и Бюхнера теперь в моде, в ходу и на этом основании притягивает к себе тех людей, которые увлекаются подражательными стремлениями, не имеет ни малейшей силы. Не угодно ли вам справиться с нашей журналистикой? Не угодно ли вам прислушаться к тем разговорам о высоких материях, которые ведутся в наших салонах? Не думаю, чтобы в этих разговорах вы открыли зловредные тенденции материализма. Стало быть, моды на Фейербаха и Бюхнера нет. Стало быть, учение этих мыслителей принимается только весьма немногими людьми. Может быть, эти люди ошибаются, но во всяком случае они мыслят согласно с Фейербахом и Бюхнером, а не признают непогрешимость Фейербаха и Бюхнера. Они не увлекаются общим стремлением, потому что общего стремления к материализму у нас не существует.

Статья "Русского вестника" клонится к тому, чтобы доказать, что наши скептики и отрицатели не умеют мыслить и, освидетельствовав суеверие массы, сами с полным суеверием поклоняются кумирам, подобным Фейербаху и Бюхнеру; для большей убедительности автор статьи сравнивает наших журналистов с Иваном Яковлевичем, ответившим однажды на какой-то вопрос своего обожателя: "Без працы не бенды кололацы". {14}

"_Кололацы! кололацы!_" - восклицает автор. - А разве многое из того, что преподается и печатается, - не _кололацы?_ Разве философские статьи, которые помещаются иногда в наших журналах, - не _кололацы?_"

Для этого язвительного вопроса была написана и напечатана вся статья "Старые боги и новые боги". Вся эта статья представляет более или менее замысловатые вариации на этот вопрос: разве не ,кололацы? Пускаются в ход страшные усилия и натяжки для того, чтобы доказать, что гг. Чернышевский и Антонович, как две капли воды, похожи на Ивана Яковлевича и Аскоченского. Желание автора провести свою идею до конца с возможно большим успехом доводит его до высоких подвигов самоотвержения. Он решается печатно прикидываться дурачком и упрекает г. Антоновича в несправедливой ненависти к материализму. {15} Такого рода упрек имеет всю прелесть оригинальности и новизны.

Он доказывает, что можно писать критику на такую статью, которой смысл

Московские мыслители. Дмитрий Иванович Писарев filosoff.org остается недоступным для самого рецензента. Впрочем, гораздо правдоподобнее будет предположить, что непонимание, обнаруженное в статье "Старые боги и новые боги", есть непонимание умышленное. Автор этой статьи, движимый разными побуждениями, решился над г. Антоновичем показать первый пример полицейской исправности "Русского вестника". Так как в критической статье г. Антоновича о "Философском лексиконе" "Русский вестник" не сумел придраться за какую-нибудь действительную погрешность, то он решился всклепать на него небылицу, и г. Антонович оказался без вины виноватым. Этим первым подвигом на поприще изловления бродяг и воришек "Русский вестник" показал наглядно, что он во имя принципа жертвует отдельную личность. Его принцип безусловное отрицание задорной журналистики, а задорным он называет каждое энергическое слово, выражающее самостоятельную, а не вычитанную идею; этот принцип требует себе жертв; выдя на поле нашей литературы с твердым намерением поймать бродягу или воришку, "Русский вестник" не мог и не хотел воротиться домой без добычи; первый попался ему г. Антонович; виноват он в глазах "Русского вестника", во-первых, тем, что помещает свои статьи на страницах ненавистного ему журнала; во-вторых, тем, что пишет о философии довольно понятным языком и не кладется в пояс разным кумирам философского пандемониума. {16}

Этого было совершенно достаточно; г. Антоновича арестовали как подозрительного человека и привели пред судилище "Русского вестника". Как решилось его дело - я сказать наверное не могу, потому что протоколы суда (т. е. статья "Старые боги и новые боги") написаны крайне сбивчивым и неясным языком, наполнены голословными обвинениями и скорее похоже на лирическое излияние озлобленного человека, чем на спокойное исследование нелицеприятного судьи. Чем оказался г. Антонович, по мнению "Русского вестника", бродягою или воришкою - я тоже не знаю. Словом, из статьи "Старые боги и новые боги" усматривается только одно: "Русский вестник" из кожи вон лезет, чтобы как-нибудь поубийственнее побранить кого-нибудь из литераторов, пишущих в "Современнике"; где можно зацепить полицейскою алебардою двоих или троих разом, там он цепляет; где надо для большей силы обвинения прибавить, там он прибавляет; где надо прикинуться наивным, там он наивничает с неподражаемою естественностью. Почему и для чего он так поступает - не знаю. Что нам за дело до побуждений, руководящих г. Катковым, что нам за дело до степени его искренности? Мы видим результаты; эти же результаты видит общество, испытывающее на себе их влияние в том или в другом направлении; об этих результатах и следует говорить, нимало не пускаясь в психологические изыскания.

Может быть, редакция "Русского вестника" за свои убеждения готова (выражаясь высоким слогом) излить последние капли своей благородной крови, а может быть и то, что она проводит не свои идеи по разным, нелитературным расчетам. В первом случае редакция "Русского вестника" только заблуждается; во втором - она действует неискренно; но в том и в другом случае результат выходит один и тот же: под зеленоватою оберткою "Русского вестника" появляются статьи, толкующие вкривь и вкось о таких вопросах, на которых сходится между собою все сознательно-честные люди в России; эти статьи с насмешкою и с порицанием относятся к стремлениям и к мыслям, выражаемым этими сознательно-честными людьми; с уважением и с подобострастием говорят они о том, что эти люди считают старым хламом; болгаринские тенденции скрываются в этих статьях под неясными терминами и оборотами, которыми любит драпироваться сомнительная ученость людей, не умеющих переварить в своей голове набранный запас сырых материалов и фактов.

Кто не умилится сердцем, читая драгоценную статью г. Грота, помещенную вслед за сердитою статью "Старые боги и новые боги"? Кто не отдохнет душою на этом спокойном, прозрачном изложении, чистом и приятном на вкус, как дистиллированная теплая вода? Кто, при чтении этой заметки, не поверит в будущее торжество добра, в наступление того золотого века, когда литераторы будут любить друг друга и когда на земле не будет другого зла, кроме сырой погоды и сухих туманов? Статья г. Грота называется: "Заметка о русской журналистике" и вся насквозь пропитана тем незлобием и тою наивною, которые, вероятно, будут составлять преобладающие свойства литературы в счастливые дни золотого века, привлекающего к себе с неотразимою силою сердца и надежды людей, верующих в историю и в прогресс. Эта статья начинается и кончается разными любезностями и лестными комплиментами, которые автор, как вежливый кавалер, подносит нашей литературе; должно заметить, что к литературе вообще г. Грот относится как-то со стороны, как человек, взявший перо в руки в досужный час, чтобы высказать мысль, случайно зашедшую в голову. Знает он литературу как-то по слухам да, может

Московские мыслители. Дмитрий Иванович Писарев filosoff.org быть, потому, что где-нибудь, случайно, пробежал страниц пятнадцать в какой-нибудь недавно вышедшей журнальной книжке. Оттого любезности у него выходят совершенно неопределенные, а замечания чисто внешние; так, например, выражается надежда, что движение, оживившее русскую литературу лет шесть тому назад (тогда, должно быть, когда начал издаваться "Русский вестник"), "конечно, приведет ее к самым счастливым результатам". В конце статьи встречается следующее трогательное место:

"Утешимся тем, что одна истина носит в себе неодолимую силу живучести и что во всяком человеческом обществе она, посреди всех заблуждений, пролагает себе путь хотя медленно, но твердо".

Эта фраза напомнила мне преуморительную сцену из комедии Сухово-Кобылина "Свадьба Кречинского". Нельсин, нелепейший из когда-либо существовавших добродетельных героев, восклицает на сцене: "Правда, правда, где ж твоя сила?" А Раепдюев очень основательно отвечает ему на это: "А поди, поищи ее!" Нелькин, как известно, уходит искать правду и вместо правды находит полицию, которую и приводит с собою на сцену. Как ни странно держит себя Нелькин, а все-таки он действует основательнее Г. Грота; во-первых, Нелькин выражает свою мысль в вопросительной форме, т. е. до некоторой степени сомневается и даже отчаивается; во-вторых, он, не умея сам найти правду, призывает к себе на помощь частного пристава; что же касается до Г. Грота, то он твердо уверен, что истина будет торжествовать, что она победит сама собою и что нам, слабым смертным, всего лучше сложить руки, уповать на прочность идеи и утешаться тем, что одна истина имеет неодолимую силу живучести.

В середине статьи Г. Грота высказываются некоторые порицательные замечания насчет нашей журналистики; эти замечания прелестны по своей наивности; процесс мысли совершается в голове автора до такой степени своеобразно, что я не могу отказать себе в удовольствии произвести над этим процессом несколько наблюдений. "В критике нашей, - говорит Г. Грот, - на троне гуманности восседает покуда заклятый враг ее - нетерпимость". Этот приговор, выражающийся в такой образной форме, срывается с уст автора по тому поводу, что, "вследствие разных обстоятельств, в нашей литературе утвердились известные взгляды и мнения, которые присвоили себе монополию обращения в печатном мире". О какой это литературе мечтает Г. Грот? Кажется, о русской. Где же издаются в одно и то же время журналы "Современник" и "Странник", "Русское слово" и "Русский вестник", "Отечественные записки" и "Искра", "Русский инвалид" и "День", "Северная пчела" и "Наше время"? 17 Кажется, в России? Как же это Г. Грот ухитрится помирить существование стольких совершенно разнохарактерных изданий с монополией? известных взглядов и мнений? Но он и не думает об этом. Он говорит о нетерпимости с точки зрения литературной кротости, а уж мысль о монополии подвернулась как-то по дороге и забрела в его статью совершенно случайно. Г. Гроту хотелось бы, чтобы все наши писатели, при спорах между собою, все-таки сулили друг другу лавровые венки и говорили друг о друге в печати таким образом: "Почтенный автор в своей прекрасной статье, которой основную мысль мы, однако, осмелимся найти не вполне справедливую, доказывает с свойственным ему остроумием" и т. д. Да, во время оно, когда писатели говорили между собою таким языком, уцелевшим теперь только в официальных изданиях ученых обществ, было приятно и душевспасительно заниматься литературой. Теперь обмен сладостей между писателями сделался невозможным; одна часть русских литераторов превратилась, по словам "Русского вестника", в бродяг и воришек; другая часть, к которой не без самодовольства примыкает "Русский вестник", поступила на службу в литературную полицию. Но все эти события прошли, кажется, мимо Г. Грота и не нарушили его очарованного сна, под влиянием которого он изредка произносил отрывочные восклицания, имеющие, может быть, некоторую связь с его грезами, но не имеющие ни малейшего отношения к физиологии нашей действительной жизни. Г. Грот не справляется даже, невидимому, с литературными мнениями того журнала, в котором он печатает свои заметки; он не соображает того обстоятельства, что требовать деликатности выражений в литературе значит упрекать "Русский вестник" в невообразимом нахальстве. Ведь если бы петербургские литераторы м не смотрели на выходки "Русского вестника" как на смешные проявления бессильной, старческой злобы, то они давно заставили бы редакцию ученого журнала дать полное и категорическое объяснение в своих намеках и формально, печатно отступить от тех выражений, которые обнаруживают в себе стремление бросить тень на литературную честность лучших современных двигателей русской мысли. Если мы не поступаем таким образом, то это происходит единственно от того, что мы

Московские мыслители. Дмитрий Иванович Писарев filosoff.org глубоко равнодушен к форме, к выражению; тенденции "Русского вестника" кажутся нам неблагородными, - мы это и высказываем; мысли, выраженные "Русским вестником", кажутся нам бедными и рутинными, - мы это замечаем; что же касается до того частного и второстепенного обстоятельства, что эти тенденции проводятся в грубой форме, что эти мысли облекаются в неопрятные выражения, то нам до этого уже нет никакого дела. Не читать же нам для редакции "Русского вестника" лекции пиитики, не преподавать же ей уроки вежливости. Для нас решительно все равно, обругает ли нас "Русский вестник" бродягами и воришками или просто отнесется недоброжелательно к задушевной мысли наших статей. Сущность дела в том, за кого стоит "Русский вестник": за нас или за наших литературных противников. Если он идет против тех стремлений, которые мы считаем полезными для нашего общества, тогда между нами нет и не может быть примирения, хотя бы целые страницы и статьи "Русского вестника" были посвящены восхвалению наших литературных талантов и нравственных достоинств. Дело в том, что через типографский станок должны проходить только те черты авторской личности, которые связаны с каким-нибудь общим интересом. Мы не боимся гласности, проведенной до последних пределов; мы не боимся таких обличителей, которые по какой бы то ни было причине решились бы посвящать публику в мельчайшие и интимнейшие подробности нашей домашней жизни; но мы сами никогда не решимся навязываться публике с разными конфиденциями собственно потому, что щадим время каждого из наших читателей и желаем говорить с ними только о таких предметах, которые могут иметь для них живой интерес. Поэтому-то мы считаем совершенно излишним протестовать печатно против тона "Русского вестника". Обругал или не обругал "Русский вестник" меня или кого-нибудь другого - это вовсе не интересно. За что обругал? Это другой вопрос; в ответе на этот вопрос заключается уже до некоторой степени отчет об общих убеждениях того или другого литературного органа. Poleмика имеет свою несомненную важность не тою диалектической частью, в которой один из спорящих по пунктам опровергает другого и ловит его на мелочах, а тем общим направлением, по которому развивается мысль обоих полемизирующих писателей.

форма полемики - пустое дело. Общая подкладка полемики, напротив того, имеет самую существенную важность. Поэтому жалоба г. Грота на нетерпимость в критике показывает в авторе "Заметки" такую первобытную, нетронутую наивность, которая возможна только в человеке, не имеющем ни малейшего понятия об интересах, волнующих нашу литературу. Разве у нас дерутся из-за литературных мнений? Разве у нас возникают тяжёлые дела из-за несходства эстетических понятий? Упрекать в нетерпимости можно, сколько мне кажется, только такого писателя, который готов и желает всеми возможными средствами насолить своему литературному противнику, а упрекать человека в нетерпимости за то, что он возражает" горячо на такие мнения, которые кажутся ему нелепыми, это крайне оригинально, чтобы не сказать больше. В наше время нелепое мнение - то же самое, что нелепый поступок; кто говорит нелепую мысль, тот поступает так же уродливо, как поступает человек, держащий свою жену взаперти или отпускающий полновесные пощечины своим детям и домочадцам. Если вы увидите сцену насилия, вы, вероятно, подадите помощь страждущему и, может быть, затеете драку с обидчиком; точно так же, если вы прочтете в печати проповедь насилия и угнетения, вы вступитесь за те естественные человеческие права, которые покажутся вам нарушенными. Если ваши возражения будут горячо прочувствованы, если вы дадите понять проповеднику насилия, что считаете его убеждения достойными негодяя или дурака, то, вероятно, ни один благоразумный человек не обвинит вас в нетерпимости, потому что в противном случае пришлось бы доводить терпимость до того, чтобы позволять на своих глазах бить человека, не заступаясь за него и не заявляя даже своего негодования. Каждый волен держаться того или другого убеждения, но вместе с тем каждый точно так же волен критиковать убеждения своих соседей и называть их нелепыми или возмутительными, если они противоречат его логике или возмущают его личное, нравственное или эстетическое, чувство. "Журнальная гласность, - говорит г. Грот, - должна быть обоюдоострая, или, как бог Янус, иметь два лица, из которых одно было бы обращено к обществу, а другое к самой литературе. Но, повторяем, наша литература любит преследовать злоупотребления только вне самой себя, а относительно своих темных сторон предпочитает скромное молчание". Ну, скажите на милость, как же не назвать эти слова отрывочными восклицаниями, произносимыми сквозь сон! За минуту перед тем г. Грот жаловался на то, что наша журнальная критика нетерпима к тем идеям и мнениям, которые идут вразрез с ее убеждениями; а теперь он, прямо в связи с этою мыслью, начинает доказывать, что эта же самая критика предпочитает скромное молчание относительно своих темных сторон. Где же тут скромное молчание, когда существует страстное обличение и горячий протест? Ведь в критике

Московские мыслители. Дмитрий Иванович Писарев filosoff.org встречаются сильные возражения против мнений, выраженных печатно, следовательно, выраженных в той же русской литературе. Ведь не возражают же наши критики тому, что они слышали где-нибудь на обеде или на вечере. Как же согласить скромное молчание с нетерпимостью к разноречивым мнениям? Или, может быть, представляя фигуру бога Януса, г. Грот этим образом хочет выразить свое желание, чтобы писатель в одно и то же время и доказывал и опровергал одну и ту же идею, чтобы критик в одной книжке журнала обличил какого-нибудь обскуранта, а в следующей книжке пролил слезы раскаяния над собственным своим увлечением? Это было бы очень трогательно, и такого рода гласность была бы действительно обоюдоострая. Критическое самобичевание, которого, невидимому, требует г. Грот, напомнило бы публике зрелище, которое часто приходится видеть на наших почтовых дорогах; оно напомнило бы ей, как неопытный ямщик, желая стегнуть свою лошадь, замахивается кнутом так усердно, что попадает сначала на седоку, потом по своей собственной спине и, наконец, и то не всегда, по лошади. Это было бы, конечно, очень смешно, но публика имела бы полное право сказать такому наивному критику: "Милый юноша, предпринимайте все ваши исправительные меры в тиши вашего кабинета. Стегайте себя сколько угодно, но избавьте нас от тяжелого и бесплодного зрелища ваших самоистязаний. Давайте нам результаты вашего мышления, а не брожение вашего мозга. Набичуйте себя вдоволь и тогда выступайте перед нами человеком сложившимся, сознательно идущим по известному направлению". Если, например, "Современник" отзывается о какой-нибудь статье "Русского вестника" как о статье дикой, то, стало быть, критика наша не проходит собственных своих темных сторон скромным молчанием. Но требовать от "Современника", чтобы он бранил те самые статьи, которые он помещает на своих собственных страницах, это совсем нелепо, это что-то вроде пеликана, раздирающего свое чрево для удовольствия публики. Любопытно также то обстоятельство, что г. Грот в своей заметке высказывает мнения, диаметрально противоположные тем идеям, которые выражает редакция "Русского вестника".

И как вас бог не в пору вместе свел! {19}

Вот что говорит г. Грот: "Периодическая литература наша много занимается общественными вопросами, но очень мало сама собою... Наша литература бойко затрагивает все, что лежит вне ее самой, но в собственные свси дела не вглядывается кристально. А между тем первый шаг к самоусовершенствованию есть самоизучение, и для всего, что живет и мыслит, самое полезное дело есть занятие ближайшими предметами".

А вот что говорит редакция в январской книжке, на стр. 480: "Только праздные и больные умы занимаются сами собою; только хилое искусство прекращается в эстетические курсы; только лишенная производительности, безжизненная и бессильная литература роется в собственных дрызгах, не видя перед собою божьего мира, и вместо живого дела занимается толчением воды или домашними счетами, мелкими интригами и сплетнями".

Как видите, эти два мнения диаметрально противоположны; г. Грот с укоризною замечает, что ваша литература бойко затрагивает все, что лежит вне ее самой, а редакция "Русского вестника" резко упрекает ее в том, что она роется в собственных дрызгах, не видя перед собою божьего мира. Если мои читатели желают знать мое личное мнение об этом важном спорном пункте, то я замечу, что схожусь скорее с воззрениями редакции, чем с идеями г. Грота, возводящего безгласность литературы в нормальное явление и дающего этой безгласности силу вечного закона. Любезная литература, говорит г. Грот своим вышеприведенным местом, ты, пожалуйста, не моги вмешиваться в вопросы общественной жизни. Там тебя не спрашивают, туда тебя не пустят, там тебе нечего делать; все будет улажено и устроено без тебя. Вы, почтенные господа писатели, творите стишки и поэмы, сооружайте повести и драмы, свидетельствуйте друг другу свое почтение и дружеское расположение в критических статьях, воспевайте на все лады красоту природы и благость провидения, и - довольно с вас. Дальше не ходите.

Признавая Карамзина и Жуковского образцовыми русскими писателями, остановившись, следовательно, на тех понятиях, которые составляли себе эти два джентльмена о деятельности литератора и гражданина, г. Грот не может думать и говорить иначе. Кто в шестидесятых годах повторяет то, что казалось новым и смелым в двадцатых годах, тот, конечно, должен представиться нам каким-то ископаемым литератором. Люди, начавшие в 1856 году издание журнала, не могут сходить в мнениях с антиком, подобным г. Гроту; действительно, редакция "Русского вестника" говорит совсем другое;

Московские мыслители. Дмитрий Иванович Писарев filosoff.org
она очень сердится на нашу литературу за то, что та не видит перед собою божьего мира, и решительно не хочет принять в соображение того обстоятельства, что литература наша ни в чем не виновата; она делает все, что может, и если достигаемые ею результаты оказываются неудовлетворительными, то это значит только, что она, при всех своих добросовестных усилиях, не может прошибить ледяную кору, отделяющую ее от живого понимания народа,

В наше время пишут многие; пишут те люди, у которых есть действительная потребность высказаться; пишут и те люди, которые, научившись владеть языком, стараются заработать себе побольше денег; в числе книг и статей, появляющихся в течение года у нас в России, есть очень много фабричных изделий, но зато рядом с этими грошовыми работами лежат тут же, в этом ворохе книг и статей, труды лучших, наиболее честных и талантливых наших соотечественников. Искусства нам как-то не дались; ни живопись, ни скульптура, ни музыка, ни театральное искусство не привлекают к себе с особенною силою наших молодых деятелей; почти вся масса ума и таланта, порождаемая русскою почвою, с неудержимою порывистостью бросается в литературу и находит в ее различных родах полное удовлетворение своему стремлению к деятельности. Желание высказаться почти всегда бывает сильнее, чем желание чему-нибудь научиться, и потому незрелость суждений, которую "Русский вестник" клеймит позорным именем литературной бесчестности, действительно бросается в глаза в самых замечательных произведениях нашей критики и публицистики. Эта незрелость составляет существующий факт, но в существовании этого факта не виноваты наши писатели. Все мы воспитывались в душевной среде, в узких понятиях, под влиянием мертвящих предрассудков; все мы, становясь на свои ноги, принуждены были разрывать связь с нашим прошлым, переделывать сверху донизу весь строй наших понятий, выкуривать из нашего мозга ту нелепую демонологию, которая заменяла нам в детстве трезвые понятия о мире, о природе и человеке; вступая в борьбу с теми элементами, которые, благодаря влиянию, родителей и педагогов, приросли к нашей природе, отрывая с болью и с кровью детские верования, детские привязанности, детские взгляды на жизнь, мы воодушевляемся и ожесточаемся в одно и то же время; проникнутые сознательным, глубоким отвращением к тем мрачным формам семейного быта, к тем суровым принципам лицемерной нравственности, к тем обесмысленным обычаям, которые давили в детстве наше естественное развитие и задерживали наш умственный рост, - мы с лихорадочным нетерпением выжидаем случая, когда бы нам можно было выразить свое негодование против всего того, что остановило развитие многих даровитых личностей и что до сих пор продолжает забивать способности детей и юношей, девушек и женщин наших. Когда мы беремся за перо, мы еще почти ничего не знаем, но сторона отрицания оказывается уже вполне развитою. Нелепостей и несообразностей насмотрелся на своем веку каждый ребенок; следовательно, каждый молодой человек, принимающийся за перо, имеет все данные для того, чтобы всю силою критики разбивать мир предания и рутины. Вместе с материалами жизнь дает нам импульс к отрицанию; кто развился настолько, чтобы понять неестественность своих ребяческих понятий, тот никак не остановится на хладнокровном созерцании этих понятий; ум не терпит неволи; когда он видит себя несвободным, он принимается разрушать свою клетку и не оставляет своей работы до той минуты, пока не будет совершенно окончено дело разрушения. Когда ум занят такого рода работою, тогда нет места для спокойного приобретения знаний; находясь в такой поре развития, мы с наслаждением хватаемся за сочинения, проникнутые полемическими тенденциями, и оставляем в стороне многотомные исследования кабинетных ученых. За это нельзя быть на нас в претензии. "Своя рубашка к телу ближе"; мы ищем того, что соответствует настоящим потребностям нашего ума, что отвечает на вопросы, встречающиеся нашей мысли на пути ее естественного развития. Когда ребенок растет, у него иногда обнаруживаются странные аппетиты: он ест с наслаждением мел, уголь, известку, глину, и эти вещества приносят ему больше удовольствия и даже больше пользы, чем питательная говядина или крепкий бульон; дело в том, что ему надо ввести в кровь именно те вещества, к которым он чувствует странное влечение; на пути нашего умственного развития мы часто бываем поставлены в такое же положение; если нашему уму надо что-нибудь вроде известки или острой кислоты, тогда и не предлагайте нам ни телятины, вроде ученых исследований гг. Буслаева, Устрялова и Соловьева, ни миндаляного печения, вроде лирических стихов гг. Фета и Полонского. Та пища, на которой живут наши писатели, отражается, конечно, и на том, что они производят. Сами писатели Проникнуты полемическими тенденциями, и те же тенденции проходят через их произведения. Мы не рассказываем публике о том, что мы знаем; мы просто делимся с нею нашими симпатиями и антипатиями; мы говорим ей: это мы любим,

Московские мыслители. Дмитрий Иванович Писарев filosoff.org этого не любим, приводим с большою или меньшею полнотою, с большою или меньшею ясностью объяснения и доводы; мы говорим о том, что сами думаем и чувствуем, потому что полагаем, что вокруг нас живут такие же люди, как и мы сами, и что каждый из них думает и чувствует про себя почти то же самое, что думаем и чувствуем мы. Мы разбросаны по кружкам; надо ж нам подать друг другу голос, надо ж нам попробовать, нельзя ли нам понять друг друга, нельзя ли найти себе симпатии, отклика; для этого надо высказываться без утайки, без задней мысли; что в печи, то и на стол мечи, что на душе, то и на языке; только правдивость и откровенность, только искренность и задушевность способны вызвать сочувствие; кто пишет теперь по живой, внутренней потребности, тот хлопочет почти исключительно о том, чтобы высказать пред обществом свои стремления. Фактические подробности, которыми наши писатели обставляют, свои идеи, не всегда удачно выбраны, часто неверны, но тут не в фактах дело; важно то, что писатель хочет выразить своим произведением, важна общая идея, тенденция, и если посмотреть с этой точки зрения на статьи лучших представителей нашей журналистики, то они окажутся безукоризненными и выдержат самую строгую критику.

Но редакция "Русского вестника" постоянно, при оценке явлений современной литературы, останавливается на их внешней стороне; она смотрит на писателя не как на живого человека, увлеченного своею идеею или возмущенного тою или другою стороною жизни, а как на фотографический станок, передающий с бессознательною верностью контуры предмета, находящегося перед ним. Она не переносится в положение писателя; она вся уходит в анализ мелочей и подробностей, которым сам писатель не придает никакого значения.

Г. Грот поступает еще оригинальнее; задумав говорить о русской журналистике, он высказывает об ней следующие замечания, которые самым наглядным образом показывают нам, насколько Г. Грот понимает интересы нашего времени. Во-первых, он упрекает журнальную критику в том, что она обнаруживает мало сочувствия к Карамзину и Жуковскому. Во-вторых, - в том, что она измеряет годность человека только тем, принадлежит ли он к старому или к молодому поколению. В-третьих, - в том, что "некоторые наши журналы и газеты начали употреблять также в виде насмешки и даже брани слово ученый". Вот вам, господа читатели, сумма мнений Г. Грота о русской журналистике. Мне кажется, Г. Гроту было бы удобнее писать заметки о шрифте, о бумаге, на которой печатаются наши журналы, о цвете их обертки, но только уж никак не о журналистике. Писать о журналистике, не будучи в состоянии отдать себе отчет в значении тех идей, которыми живут лучшие люди нашего общества, это чересчур оригинально.

Но если оригинально в этом случае положение автора заметки, то, конечно, еще гораздо оригинальнее поступок редакции, печатающей на страницах своего журнала такую статью, которая прямо противоречит мнениям редакции и обличает в авторе такую нетронутую глубину наивности.

V

Пропуская две статьи Г. Лонгинова, отличающиеся полнотою библиографических сведений и полным отсутствием руководящей идеи, пропуская еще две статьи, из которых одна трактует о губернских памятных книжках, а другая о карте Самарской губернии, я перехожу к мартовской книжке, и встречаю ту статью о госпоже Толмачевой, {20} которая в свое время вызвала против себя заслуженное негодование в обществе и в периодической литературе. В этой статье редакция "Русского вестника" косвенно объявляет себя против эмансипации женщины и спрашивает: чего недостает нашим женщинам? Утешает их тем, что "у нас были знаменитые императрицы, на английском престоле восседает теперь королева, на испанском - тоже", и советует, вместо того чтобы эмансипировать женщину, - подчинить и мужчину известным ограничениям, ради охранения доброй нравственности. Этих фактов совершенно достаточно, чтобы дать понятие о букете этой статьи; о ней в свое время было сказано довольно много, и потому я ограничусь только беглым указанием на это произведение умеренного либерализма; в списке прошлогодних подвигов "Русского вестника" необходимо было поместить и эту статью, потому что в ней есть драгоценные выходы против эмансипаторов, против пустоголовых прогрессистов, против отрицателей общественных приличий, против губителей общественной нравственности. Добродетельный пафос, которым проникнуты многие отрывки этой замечательной статьи, представляет редкое и тем более отрадное явление в нашей легкомысленной литературе, посреди преобладания эгоизма, скептицизма, материализма и разных других безнравственных идей и стремлений. Не угодно ли вам, например, полюбоваться следующими строками.

Московские мыслители. Дмитрий Иванович Писарев filosoff.org
Ведь это просто оазис среди песчаной пустыни.

"Общественные приличия! Но что дает нам право ставить себя выше их? Можно ли допустить, чтоб общественные приличия нарушались во имя пошлых фраз, выражений ничтожества и пустоты? Что должно сказать при виде этого ничтожества, которое, под прикрытием громких слов: прогресса, просвещения, свободы, топорщится со свистом в голове стать выше целого общества, выше убеждений целого мира, клеймя их названием предрассудков? Общественные приличия имеют всегда какое-нибудь основание; вырабатываясь из жизни, они содержат в себе ее разум, и для того, чтобы судить о них, надо прежде понимать их" (стр. 36).

Не знаешь, чему больше удивляться, читая это неподражаемое место: силе ли пафоса, овладевшего автором, фразистости ли его произведения или же, наконец, тому изумительному отсутствию связи, которое мы видим между отдельными словами и предложениями. Можно сказать наверное, что если бы какая-нибудь модная барыня взялась защищать светские приличия против нападок разгулявшейся журналистики, то она сделала бы это дело гораздо успешнее, чем редакция "Русского вестника". Она бы твердо стала на хорошо знакомую ей практическую почву и не пыталась бы оправдывать общественные приличия с высшей, философской точки зрения. Такого рода диалектический прием имеет всю прелесть новизны в нашей литературе, и честь его изобретения принадлежит бесспорно редакции "Русского вестника". Вот еще одно место:

"Вы хотите возвыситься над общественными приличиями: остерегитесь, чтобы не упасть не только ниже их, но и ниже обнаженных отправления скотской жизни. Вы домогаетесь благодати выше долга; но помните, благодатные люди, что она не исключает долга, а, возвышаясь над ним, дает только больше, чем может дать он. Вы лезете в гении, но не думайте, что для достижения этой чести надобно только отказаться от здравого смысла" (стр. 37).

Кого хочет поразить этими словами "Русский вестник", кого называет он благодатными людьми, кто лезет в гении и какое отношение вся эта тирада имеет к женщине, - этого я решительно не понимаю. Сомневаюсь даже в том, чтобы это было понято самому автору статьи. Не мало курьезных цитат можно было бы привести из этой апологии Камня Виногорова, но мне предстоит еще пересмотреть много драгоценностей, и потому я поспешно иду дальше. Остановлюсь на минуту на статье г. Лонгинова о стихотворениях А. С. Хомякова. В этой статье начинает проявляться тот сладкий оптимизм, который составляет одно из преобладающих свойств критики "Русского вестника". Журнал этот относится чрезвычайно мягко и ласкательно ко всему тому, что не находится в связи с свистящею журналистикою. Все хорошо в нашей жизни, по мнению "Русского вестника", и только безмозглые отрицатели своими нестройными криками нарушают общую гармонию этой изящной жизни. Хомяков не принадлежал к безмозглым отрицателям, следовательно, его можно возвеличить, и действительно, г. Лонгинов величает его так усердно, что статья его делается похожею на панегирик. Те стихотворения, которые он приводит в подтверждение своих хвалебных отзывов, могут быть очень возвышенны по своему духовному полету, но мотивы этих стихотворений покажутся современному читателю чересчур античными и затронут в нем это живое чувство так же мало, как мало затронут это живое чувство самые лучшие места из "Мессиады" Клопштока. Сомневаюсь например, чтобы на кого-нибудь могло подействовать следующее произведение, выписанное в статье г. Лонгинова:

Подвиг есть и в сраженье,
Подвиг есть и в борьбе,
Лучший подвиг - в терпенье,
Любви и мольбе.
Если сердце заныло
Перед злобой людской
Иль насилье схватило
Тебя цепью стальной,

Жалом в душу впились,
С верой бодрой и смелой
Ты за подвиг берись:
Есть у подвига крылья,
И взлетишь ты на них,
Без труда, без усилья,
Выше скорбей земных,
Выше крыши темницы,
Выше злобы слепой,
Выше воплей и криков
Гордой черни людской.

Если бы эти стихи принадлежали не Хомякову, а какому-нибудь неизвестному поэту, я бы, может быть, назвал их холодной декламацией на заданную тему. Но Хомяков, как говорят все люди, знавшие его лично, был человек в высшей степени честный и глубоко искренний; следовательно, надо поверить поэту на слово и предположить, что он в этом стихотворении действительно выразил то, что чувствовал, то, в чем он был горячо убежден. Такого рода предположение оправдывает в наших глазах личность Хомякова, но оно никак не заставит нас восхищаться произведением Хомякова и сочувствовать тому настроению, под влиянием которого оно написано. Может быть, мы не стоим на той высоте духовного развития и просветления, на которой находился Хомяков; может быть, нам недоступны те высшие духовные радости, о которых повествует поэт, только потому, что мы испорчены скептическим направлением нашего века и придавлены к земле мелкими заботами и нелепостями действительности; все это может быть, но, как бы ни были унижительны для нас самих причины нашего непонимания, мы все-таки откровенно сознаемся в том, что не понимаем идеи стихотворения. Что же касается до крыльев подвига и до возможности взлететь на них выше крыши темницы и выше многих других неприятных предметов, то нам, испорченным детям XIX века, подобные сочетания слов кажутся совершенными нелепостями, горячо прочувствованными самим поэтом, но: решительно не выдерживающими самой элементарной критики.

То, чего не понимаем мы, по своему неразумению или по своей испорченности, то, конечно, мог бы понимать г. Лонгинов; если бы его критическая статья была проникнута тем духом, который воет в стихотворениях Хомякова, тогда я совершенно понял бы восторг рецензента перед личностью и произведениями вдохновенного поэта и понял бы вместе с тем, что мы с г. Лонгиновым живем в двух разных мирах, что в наших взглядах на жизнь нет ничего общего и что, следовательно, нам не надо спорить между собою и нельзя ни на чем сойтись. Но дело в том, что г. Лонгинов вовсе не восторгается теми идеями и образами, которыми наполнены стихотворения Хомякова; он голословно восхищается стихотворением, голословно называет его превосходным, голословно говорит, что "поэтическое наследие Хомякова не велико по количеству, но состоит из чистого золота", и голословно повторяет отзыв одного ценителя, что Хомяков "не написал ни одного праздного стиха". Из всего этого голословия читатель статьи г. Лонгинова никак не будет в состоянии понять красот хомяковской поэзии и тех точек соприкосновения, которые существуют между поэтом и критиком. Где же суждение г. Лонгинова о разбираемых им произведениях, где личные убеждения критика? Неужели их надо искать в эпитетах, вроде "ярко", "превосходное", "глубоко", "высокой", и в риторических фигурах, вроде "чистого золота поэтического наследия" или "строгие черты его целомудренной музыки"? Но ведь эти эпитеты надо же чем-нибудь мотивировать, эти риторические фигуры надо чем-нибудь оправдать. Ведь не из одних же слов и библиографических сведений должна состоять критическая статья? Надо же, чтобы в ней была хоть какая-нибудь мысль. Знать, что такая-то книга была издана первым изданием в таком-то году и что такое-то стихотворение было помещено в такой-то книжке такого-то журнала, не значит еще быть критиком. В противном случае большая часть

Московские мыслители. Дмитрий Иванович Писарев filosoff.org библиотекарей, книгопродавцев и грамотных букинистов могли бы Белинского за пояс заткнуть. Кажется, г. Лонгинов так и думает, если принять в соображение его статью "Белинский и его лжеученики", статью, которой мы коснемся мимоходом, когда дойдем до разбора июньской книжки "Русского вестника".

Надеясь, что не все наши читатели разделяют мнение г. Лонгинова об обязанностях и достоинствах критика, я дам себе право обратить внимание тех людей, которые не согласятся с г. Лонгиновым, на то поразительное бессилие, на ту печальную безжизненность, которые обнаруживаются в критике "Русского вестника".

У нее есть только один *mot d'ordre*: {Пароль (франц.). - Ред.} преследование свистунов; {21} когда она заговорит о свистунах, тогда она сколько-нибудь оживляется, начинает браниться, смеяться принужденным смехом, вздыхать о горькой участи русской литературы. Все эти различные оттенки негодования остаются нам довольно непонятными и своей исходной точке, в побудительной причине; все эти проявления возмущенного нравственного чувства похожи скорее на лирические излияния, чем на солидные выражения продуманных убеждений; но по крайней мере в этих выходках есть жизнь; в них авторы статей выражают свои собственные чувства и не стараются поднять себя на высоту невозможной и неестественной объективности, которая, как две капли воды, похожа на отсутствие собственного убеждения, на добровольное или вынужденное критическое молчалинство. Там, где речь идет не о свистунах, там критические статьи "Русского вестника" состоят из выписок, из вариаций на эти выписки, из библиографических или биографических указаний и из фраз, более или менее лестных для автора разбираемой книги. Часто в его рецензиях видно много эрудиции, часто они представляют очень тщательный разбор очень мелких фактов, но при этом общая идея автора всегда ускользает от рецензента и никогда не наводит его на критические размышления. Мысль расплывается в бесцветных фразах или задыхается под грудю мелких фактов.

VI

Относясь мягко и почти любовно ко всему, что не имеет связи с задорною журналистикою, и в то же время не решаясь слишком громко расхваливать то, что не представляет никаких особенных достоинств, "Русский вестник" держится дипломатической осторожности, хвалит так, что его похвалы можно принять за выражения светской вежливости или условного почтения. Похвалы эти голословны, как-то официальные; в них не видно действительного сочувствия; но, несмотря на эту дипломатическую осторожность, у "Русского вестника" прорываются порою довольно странные признания и суждения.

С этой точки зрения стоит привести в пример статью г. Н. о "Солдатской беседе" {22} г. Погосского. Г. Погосский, как автор "Дедушки Назарыча", "Господина Колодника" и разных других рассказов, взятых из солдатского быта и переданных солдатским языком, известен своею замашкою идеализировать изображаемую среду в особенности те личности, которые являются в его рассказах на первом плане. Как человек умный и не лишенный современного литературного образования, г. Погосский идеализирует довольно искусно и почти правдоподобно. Он не представляет своих героев сказочными богатырями, не заставляет их стучать себя в грудь и плакать навзрыд при слове "матушка Русь православная", не наваливает им на плечи невероятных подвигов героизма и самоотвержения и вообще не выходит, при построении своих характеров и положений, из масштабов, серенькой действительности. "Его Назарычи, Савельичи, Кулики да Калинины, - говорит г. Н., - народ все больше невзрачный, тихий, не хвастливый; это все люди, которые тут же, о бок нас живут". Все это почти верно, а между тем это не мешает существованию страшной идеализации. Все эти солдаты - люди маленькие, но в высшей степени добродетельные. "А придет случай - глядишь, - говорит сам г. Погосский, - он (т. е. солдат) и встанет перед тобою в такой красоте душевной, такую добродетель окажет, ни перед каким злом непреклонную, что подивисься ты невзрачному человеку этому и за большое счастье почтешь называть его ровней, товарищем своим". Вот и возникает вопрос: откуда же добыл себе этот солдат такую отменную добродетель? Из деревни ли он ее принес или в казармах выработал? Если из деревни принес, то эта добродетель принадлежит или отдельному лицу, или целому народу, но никак не специальному сословию солдат. Если же он ее выработал в сфере своей служебной жизни, тогда г. Погосскому очень не мешало бы объяснить читателям, какие именно стороны этой жизни выработывают в солдате непреклонную добродетель и душевную красоту. Но г. Погосский; как художник, может быть увлечен своим предметом

Московские мыслители. Дмитрий Иванович Писарев filosoff.org и вследствие этого может, в отношении к этому предмету, утратить до некоторой степени ту силу анализа, с которою человек, хладнокровно размышляющий, приступает к обсуждению каждого дела или вопроса. Может быть, г. Погосский видел действительно так много примеров непреклонной добродетели и красоты душевной, что для него понятие солдата совершенно неразлучно с понятием человека, обладающего именно такою добродетелью и красотой. Кроме того, г. Погосский преследует, может быть, нравственно-педагогическую цель и желает представить своим читателям-солдатам как можно больше хороших образцов, для того чтобы эти читатели, умиляясь сердцем, стремились подражать этим доблестным примерам и неуклонно подвигались вперед на пути своего духовного и нравственного совершенствования. Если г. Погосский увлекается как художник, если он, сочувствуя своим младшим братьям, видит их отчасти в розовом свете, - это делает величайшую честь мягкому сердцу и впечатлительным нервам издателя "Солдатской беседы", хотя в сущности не увеличивает правдоподобия характеров, подобных Назарычу, и даже не объясняет происхождения этих характеров из наличных элементов нашей действительности. Если г. Погосский хочет приносить пользу нашим нижним чинам представляемыми образцами, если его добродетельные герои - не что иное, как прописи, с которых солдату должно списывать свои поступки и свою жизнь, то опять-таки нельзя не отнестись с величайшею признательностью к добродетельным тенденциям г. Погосского, нельзя не признать его за истинного филантропа и нельзя не пожалеть о том, что похвальная филантропия эта идет вразрез с жизненною правдою. Те аргументы, которые я привел для того, чтобы оправдать и объяснить увлечение г. Погосского своим предметом и выходящую из этого увлечения идеализацию, к сожалению, никак не могут быть приведены в пользу г. Н. - критика "Русского вестника".

Дело критика состоит именно в том, чтобы рассмотреть и разобрать отношения художника к изображаемому предмету; критик должен рассмотреть этот предмет очень внимательно, обдумать и разрешить по-своему те вопросы, на которые наводит этот предмет, вопросы, которые едва затронул и, может быть, даже едва заметил сам художник. Художнику представляется единичный случай, яркий образ; критику должна представляться связь между этим единичным случаем и общими свойствами и чертами жизни; критик должен понять смысл этого случая, объяснить его причины, узаконить его существование, показать его *raison d'être*. {Разумное основание, смысл (франц.). - Ред.} Г. Погосский рисует нам добродетельных солдат. Критик его произведений может соглашаться или не соглашаться с автором, признавать или отвергать действительность выводимых им явлений; в том и в другом случае он должен выставить на вид те соображения, которыми он руководствуется и при помощи которых он приходит к тому или другому результату. Если он считает Куликов и Назарычей действительно живыми типами, то должен объяснить нам, какие именно условия русской жизни вообще или солдатского житья-бытья в особенности содействуют формированию таких типов. Если он считает Куликов и Назарычей головными выдумками автора, построенными с поучительно-нравственною целью, то он опять-таки обязан, подвергнув анализу те же условия русской жизни, доказать, что при этих бытовых условиях личности, подобные добродетельным героям г. Погосского, существовать не могут. Словом, чтобы критическая статья не была переливанием из пустого в порожнее, надо, чтобы в ней высказывался взгляд критика на явления жизни, отражающиеся в литературном произведении; надо, чтобы в ней, с точки зрения критика, обсуживался и решался какой-нибудь вопрос, поставленный самою жизнью и натолкнувший художника на создание разбираемого произведения. Этого-то именно вы не найдете в статье г. Н.; одобрительно-ласкательные отзывы о "Солдатской беседе" г. Погосского, выписки из упоминаемых повестей, рассказ содержания этих повестей - вот все, что вы встретите в этой *soi-disant* {Так называемая (франц.). - Ред.} критической статье. Мы из этой статьи имеем право вывести одно заключение, что автор ее разделяет сладкие воззрения г. Погосского и вместе с ним готов восхищаться тою сферою, в которой живут и действуют наши крестьяне и солдаты. Я не намерен спорить ни с г. Погосским, ни с г. Н., тем более, что последний не высказывает решительно своих мнений, а только принимает с полною верою все слова и рассказы "Солдатской беседы". Я спорить не намерен, потому что нахожу это в высшей степени неудобным и бесполезным; я ограничиваюсь только тем, что указываю на крайние выводы, к которым приводит сладкий оптимизм "Русского вестника". Затем иду дальше, к критическим диковинкам следующих книжек.

VII

В раздумье останавливаюсь я перед апрельскою книжкою; в ней критический

Московские мыслители. Дмитрий Иванович Писарев filosoff.org отдел начинается выпиской из сочинения г. Юркевича ("Из науки о человеческом духе"). {23} Возникает вопрос: говорить или не говорить об этой статье? Есть много аргументов за и против; но мне кажется, будет основательнее пройти эту статью молчанием, напомнив предварительно читателям, что она направлена против статьи г. Чернышевского об антропологическом принципе и заимствована "Русским вестником", как полемическое *casse-tete*, {Кастет, дубинка (франц.). - Ред.} из "Трудов киевской духовной академии". Решаюсь я не говорить об этой статье собственно потому, что не вижу ни малейшей точки соприкосновения между мыслями г. Юркевича и моими собственными идеями. Процесс мысли, исходные точки, результаты, способ изложения - все это до такой степени различно, как будто бы мы жили в разные времена и говорили на двух разных языках. Очень может быть, что это признание сделано мною к моему собственному стыду, очень может быть, что жить не в том мире, в каком живет г. Юркевич, значит прозябать, вести жизнь скотоподобную, не иметь понятия о деятельности мысли; все это очень возможно, а между тем я все-таки с полной откровенностью скажу, что не понимаю, из чего хлопочет г. Юркевич, что и зачем он доказывает, какая польза и какая надобность в тех невыносимо-скучных диалектических тонкостях, которыми наполнена его обширная статья. Согласитесь, господа читатели, что если я не понимаю ни цели, ни сущности, ни пользы статьи г. Юркевича, то я никак не могу стать к ней в какие бы то ни было критические отношения. Для меня статья г. Юркевича написана на неизвестном языке, и притом на таком языке, которому я не хочу учиться, потому что очень хорошо знаю, что этот язык, сухой и бесплодный, ничем не вознаграждает меня за те усилия, которые я употребляю на его усвоение. Если г. Юркевич не умеет говорить ясно и просто о простых и ясных предметах, если надо пройти целый предварительный курс кабастики для того, чтобы слышать его учение о природе, о человеке, о духе и разуме, то я полагаю, что большинство людей предпочтут остаться профанами. Вокруг нас кипит живая жизнь; что ни шаг, то предмет для размышления, и притом такой предмет, который непременно надо обсудить, чтобы иметь возможность идти дальше; тут сама жизнь задает вопрос и шевелит мысль; успевай только обдумывать и решать; успевай только пробиваться и разрушать действительные препятствия; а тут нам предлагают углубиться в самих себя, заняться диалектическими выкладками, воскресить покойный гегелизм и зарыться по уши в какую-нибудь отвлеченную систему, которая не успела даже выработать себе ясного языка. Мы с удовольствием готовы пользоваться философскою диалектикою как орудием борьбы, как средством разрушать предрассудки, но когда философская диалектика уходит в область слов, когда она, теряя из виду действительность, забывая условия места и времени, начинает расплываться в общих рассуждениях, не приводящих и не могущих привести ни к какому осязательно-практическому, жизненному результату, тогда мы отвертываемся от этой диалектики и находим, что заниматься ею скучно, а спорить с тем, кто ею занимается, бесполезно.

Как бы замысловаты ни были те приемы, которыми г. Юркевич уличает г. Чернышевского в непоследовательности, в нелогичности, в неумении мыслить, в противоречиях с самим собою, как бы остроумны и глубокомысленны ни были те доводы, которыми киевский мыслитель громит петербургского журналиста, все-таки статья киевского мыслителя прочтется очень немногими любителями и даже на этих любителей не произведет сильного впечатления, потому что она спорит из-за слов и останавливается на мелочах. Что же касается до статьи петербургского журналиста, {24} то ее прочло большинство читающей публики; идеи его вызвали деятельность мысли, критика ума усилена и напряжена этим притоком нового материала, следовательно, дело сделано, а там пускай кропотливые труженики, не умеющие окинуть одним взглядом целое направление мысли, возражают против отдельных подробностей, спорят против частных недосмотров и превращают живую идею в диалектическое толчение воды; этим они несколько не останавливают действительного развития идей в обществе; этим они покажут только свое собственное бессилие, против которого, конечно, людям дела и живой мысли не стоит предпринимать крестовый поход; достаточно указать на это бессилие как на существующий факт и пройти мимо к другим предметам, также заслуживающим наблюдения.

Полного внимания заслуживает статья г. Лонгинова о князе П. А. Вяземском. Эта статья вызвана отзывами разных петербургских журналов и газет о юбилее пятидесятилетней литературной деятельности князя Вяземского, {25} праздновавшемся 2 марта 1861 года. В свое время было много говорено об этом юбилее, гораздо больше, чем стоило говорить о таком предмете, и потому я, конечно, в этой статье не буду поднимать этих улегшихся толков. Вообще я совершенно воздержусь от суждений о литературных заслугах г. Вяземского и

Московские мыслители. Дмитрий Иванович Писарев filosoff.org
буду иметь дело только с г. Лонгиновым, который, увлекаясь жаром антиквария и панегириста, высказывает много любопытных идей и эстетических взглядов. Исходная точка у г. Лонгинова та же, что и у г. Грота; он сурово упрекает наших литераторов или, как он говорит с оттенком укоризны, наших фельетонистов в том, что они не знают истории нашей словесности и потому не чувствуют к своим предшественникам на литературном поприще того уважения и той признательности, которую следует воздавать им по заслугам. Он указывает этим фельетонистам на гражданские и человеческие добродетели наших писателей прежнего времени и указывает на некоторых из них как на образцы, достойные подражания. "Карамзин, - говорит он, - на которого смеют нападать разные борзописцы за то, что он не думал и не писал в их духе, Карамзин был одарен гражданской честностью и гражданским мужеством, каких дай бог болеее на Руси. Он отказывался от должности министра, пером Тацита писал приговор Иоанну, не угождал ни одному временщику, подавал государю записки о разных государственных делах первой важности, не взирая на то, что мысли его противоречили взглядам Александра. Благородство Жуковского вошло в пословицу. Шишков ошибался, но был честнейший из людей, твердый в правилах и не способный согнуться ни перед чем, словом, - достойный друг Мордвинова. Справьтесь, какая память живет в министерстве юстиции о Дмитриеве и теперь, через сорок пять лет после его отставки!"

Увлекаясь апологическим жаром, г. Лонгинов не замечает того, как странно он защищает своих клиентов. Карамзин не был льстецом, Жуковский неблагородным человеком, Шишков - бесчестным человеком, Дмитриев - суровым чиновником. Слушая воодушевленные речи г. Лонгинова на эту тему, можно себе вообразить, будто наша текущая литература завалена обличениями и обвинениями, направленными против прежних деятелей с целью очернить навсегда их имена и смешать с грязью их память. Если бы большинство пишущих людей было занято изобретением разных клевет против Карамзина, Жуковского, Шишкова и Дмитриева, то тогда только можно было бы объяснить себе происхождение апологии г. Лонгинова. Но теперь к чему она? Кто клеветает на этих покойных литераторов? Кто говорит об них? Мы об них и думать забыли, у нас порвалась всякая связь с этими людьми; у них были свои интересы, свои воззрения; они отжили; теперь мы живем, и у нас свои интересы, свои воззрения, не имеющие ничего общего с прежними; когда нам случается заглянуть в том их сочинений, мы остаемся холодны к тому, что их интересовало, и подчас, невольно, добродушно улыбаемся их восторженным тирадам. Даже приговор Иоанну, написанный пером русского Тацита, Карамзина, не вызывает в нас особенного сочувствия, между тем как строки настоящего римского Тацита, написанные слишком за полторы тысячи лет тому назад, до сих пор шевелят наши нервы. Что же делать? Надо с этим согласиться: Карамзин, Жуковский, Дмитриев и др. отжили для нас, и отжили так полно, так безнадежно, как, вероятно, никогда не отживут люди с действительным, сильным талантом, люди, подобные Шекспиру, Байрону, Сервантесу, Пушкину. Шекспира мы до сих пор читаем с наслаждением, а Жуковского вряд ли кто-нибудь возьмет в руки иначе, как с ученою или библиографическою целью; а на это г. Лонгинов горячо возражает, что Жуковский, Карамзин и Шишков - честнейшие люди. Ну, что ж из этого? Ответим мы. Мы их и не браним бесчестными, а думаем только, что честность в писателе - достоинство отрицательное. За отсутствие этого достоинства клеймят презрением, а за присутствие его еще не венчают лавровыми венцами. Что Карамзин, Жуковский и Шишков были честными людьми - это при них и остается. Из этого никак нельзя вывести заключения, чтобы следовало превратить текущую литературу в поминальные списки. Мало ли в России со времен Юрика или Гостомысла было честнейших людей! Неужели же их всех литература должна помнить и беречь только за то, что они были честнейшие? Если у нашей эпохи нет таких интересов, которые разделяли бы с нами Карамзин и Жуковский, то в чем же мы можем им сочувствовать, зачем мы будем к ним обращаться? Отчего мы не можем и не должны говорить, что прошедшее нашей литературы для нас не существует, что мы отделены от него целою пропастью, через которую нельзя и не следует перешагнуть? Почему, на каком основании мы будем помнить и уважать прошедшее нашей литературы? Потому ли, что оно прошедшее и что глубокомысленная латинская поговорка велит говорить *de mortuis aut bene, aut nihil*. {О мертвых или хорошо, или ничего. - Ред.} или потому, что оно наше, родное, русское? Не знаю право, который из доводов лучше и сильнее. Что касается до г. Лонгинова, то он, кажется, охотнее примет первый аргумент, потому что уважение к прошедшему, по его мнению, должно быть принадлежностью образованного литератора и развитого человека. "Расин - не Мюссе, Шиллер - не Гейне, - говорит г. Лонгинов, - а попробуйте умному французу или немцу поговорить с презрением о Расине или Шиллере, он, вероятно, даже не почтет за нужное продолжать с вами разговор". Умный француз или немец, не дающий в обиду своих стариков,

Московские мыслители. Дмитрий Иванович Писарев filosoff.org приведен здесь собственно для того, чтобы показать нашим "борзописцам и фельетонистам" всю позорную опрометчивость их поведения; желая дать этим господам хороший, полновесный урок, г. Лонгинов говорит множество несообразностей; он ставит на одну доску Шиллера и Расина и находит, что умный француз, защищающий Расина, и умный немец, защищающий Шиллера, будут одинаково правы в своих суждениях.

В глазах г. Лонгинова оба правы, потому что оба защищают прошедшее; тут можно только скромно заметить, что ведь прошедшее прошедшему рознь. Отстаивать Шиллера как художника и человека, как вдохновенного защитника лучших прав и лучших инстинктов человеческой природы, отстаивать Шиллера как честного бойца своего времени, как гениального мыслителя и поэта позволительно каждому порядочному человеку, будь он немец или француз, русский или татарин. Но отстаивать Расина, в сочинениях которого мы не встречаем ничего, кроме лжи и ходульности, отстаивать вместе с ним все направление литературы в век Людовика XIV – это такой подвиг, на который может решиться разве только французский академик и за который похвалить может только критик "Русского вестника". Сочувствие г. Лонгинова к прошедшему quand meme доходит до того, что он с непритворным уважением отзывается о Французской академии, как о хранилище спасительных преданий. То, что говорит г. Лонгинов об академии, так неподражаемо хорошо, что я не могу отказать себе в удовольствии выписать несколько его подлинных строк. "Она, – говорит он, исчисляя заслуги академии, – напечатала несколько изданий словаря, сообразуясь с успехами языка, была постоянно органом здоровой критики, а главное – трудами и заседаниями своими распространяла в публике тот эстетический вкус, развивала в ней то уважение к достоинствам бессмертных творений великих писателей, благодаря чему во Франции не может первый встречный заставить верить публику всему, что придет ему в голову говорить об этих писателях" (стр. 121). Не знаю, на каких это наивных и несведущих читателей рассчитывает г. Лонгинов; кто же это ему поверит, что французская публика отличается развитым эстетическим вкусом и что она обязана академии эстетическими, понятиями? Что ж, это академия, что ли, рекомендовала ей романы Фудра, Дюма, Феваля, графини Даш, Ксавье де Монтепен и других неистощимых рассказчиков? И что же, это пристрастие к подобным романам – признак развитого вкуса? Или, может быть, г. Лонгинов не признает даже публикою тех людей, которые запоем читают Феваля и Дюма? От него это станется, потому что он, кажется, делает различие между обществом и толпой. Общество он уважает, но толпу, *profanum vulgus*, необразованную массу, он поражает самым убийственным презрением, причисляя к этой безобразной толпе и преступных фельетонистов и тех легкомысленных людей, которые читают эти фельетоны, не краснея от стыда и не бледнея от добродетельного негодования. "Общество французское, – продолжает г. Лонгинов, – настолько образовано, что считает существование такого учреждения не только совместным с движением литературы и своим собственным, но совершенно необходимым, как убежище для истинного вкуса, для независимого голоса людей знающих и почтенных, для охранения вечных законов прекрасного от посягательств легкомыслия и невежества. Поэтому академия руководствуется при выборе своих членов не только степенью таланта, а еще менее популярностью того или другого автора, но считает условием для того классическое образование писателя, свойство его ученых приемов, мастерство его владеть языком, его вкус и критический дар. Она примет в члены скромного, малоизвестного толпе поэта Лапрада и едва ли скоро допустит в свою среду, например, блестящего, "популярного", бойкого Теофиля Готье".

Знаете ли что, господа читатели, – вглядываясь в чужую добродетель, мы всего глубже и живее можем почувствовать своя собственные несовершенства, мы всего скорее можем дойти до спасительного раскаяния и до горячего желания исправиться. Со вниманием всматриваясь в идеи г. Лонгинова, я замечаю, что его оптимизм отличается глубокою, непочатою искренностью, и с истинным огорчением обличаю самого себя в мрачном и недостойном недобрении ко всему истинному и прекрасному. Посмотрите, как тепло верит г. Лонгинов и в образованность французского общества, и в необходимость Французской академии, и в независимость голоса тех знающих и почтенных людей, которые удостаивались сделаться ее членами, и в вечность тех законов прекрасного, которые, несмотря на свою вечность, должны быть охраняемы от посягательств легкомыслия и невежества. Г. Лонгинов так твердо верит в существование добра и во всеместное его проявление, что от души сочувствует всем академическим выборам, которые, конечно, представляются ему независимым голосом людей знающих и почтенных. Его несказанно радуется то обстоятельство, что академия не обращает внимания на мнение толпы и, бракуя "популярного" (заметьте кавычки) Теофиля Готье, принимает в члены скромного поэта

Да, вот как добропорядочные люди смотрят на вещи; мне становится стыдно за себя и за свои идеи, но я преодолеваю этот естественный стыд и публичным покаянием стараюсь до некоторой степени смыть с себя пятно моих неприличных воззрений. Каюсь перед читателями, вот в каких странных образах представлялись мне те факты, которые облил г. Лонгинов таким ярким потоком светло-розового света. Я думал, что Французская академия, основанная по капризу всемогущего министра, кардинала Ришелье, никогда не была живою потребностью для французского общества, а жила себе по силе инерции, как правительственное учреждение, созданное эдиктом и не отмененное никаким другим последующим распоряжением. Я думал, что существование Французской академии не имеет ничего общего с движением литературы и что французское общество не потеряло бы ровно ничего, если бы словаря академии вовсе не существовало; я думал, что истинный вкус не нуждается в убежище и что голос каждого человека – знающего или незнающего, почтенного или непочтенного может быть гораздо чище и самостоятельнее, когда этот человек говорит только от своего собственного лица, чем тогда, когда он ораторствует на академических креслах, как член и представитель почтенной и ученой корпорации. Мне казалось, что Французская академия не охраняет вечных законов прекрасного по той простой причине, что таких мудреных законов не существует и что, думая хранить вечные законы, почтенное собрание бережет залежавшиеся академические предания, окоченевшие от времени и превратившиеся в сухую, мертвую рутину; при выборе своих членов академия руководствуется не степенью таланта автора, не популярностью его, а классическим образованием писателя, свойством его ученых приемов, мастерством его владеть языком, его вкусом и критическим даром. Я бы от души желал поверить на слово г. Лонгинову и принять сообщаемые им сведения за святую истину, но решительно не могу сделать этого, потому что в самых словах г. критика заключается неразрешимое противоречие: академия, изволите видеть, не обращает внимания на степень таланта и между тем требует мастерства владеть языком, вкуса и критического дара. Что же такое критический дар, если он не признается талантом и даже противопоставляется таланту? И мастерство владеть языком и вкус – это тоже не талант? Да что же такое талант? Поневоле приходится обращаться к переборке слов, когда люди начинают употреблять слова, не отдавая себе отчета в их значении.

Чтобы понять г. Лонгинова, надо обратиться к тем примерам, которыми он поясняет свою замысловатую идею, весьма похожую на пустую фразу. "Виктор Гюго, – говорит он, – в апогее своей славы не мог сделаться академиком до самого 1841 года, потому что, несмотря на свое блестящее дарование, грешил часто против чистоты языка и здравого вкуса, которые так уважаемы в учреждении, где заседали тонкие судьи их, этому качеству преимущественно обязанные общим почетом, их окружившим: Андрие, Фелец, Нодье, Сальванди и пр.". А, да, теперь дело начинает разъясняться. Академия требует правильности (Correctheit) и в этом отношении платит дань общей слабости всех академий. Одна академия требует правильности рисунка, другая правильности музыкального выполнения, третья – правильности поэтического вымысла. Ставя подобные требования, каждая академия стесняет свободный полет мысли и втискивает в свои условные, узкие рамки творческую деятельность художника. По академическим понятиям, трудолюбивая посредственность, умеющая усвоить себе предания школы и не чувствующая в себе ни малейшей потребности выйти из рубрик официально предписанной программы, всегда будет поставлена выше независимого таланта, разбивающего всякие условные ограничения и не повинующегося в своем творчестве никому и ничему, кроме собственного внутреннего побуждения. Поэтому академии почти всегда расходятся в своих приговорах с неразвитою толпою; неразвитой толпе нравится самородная сила, оригинальная смелость, творческая самобытность, а академии требуют выдержанности, дрессировки, применения к известному, условному образцу; толпа величает и любит своих поэтов, не обращая внимания на академические приговоры, а почтенные собрания, живя своею замкнутою, тепличною жизнью, знать не хотят о том, что делается за стенами их зал и кабинетов, и улыбкою презрения встречают все проявления мысли и чувства, прорывающиеся помимо их приговоров и находящие себе сочувствие в неразвитой толпе. Г. Лонгинов вполне академик по своим воззрениям; он от души желает, чтобы толпа беспрекословно слушалась приговоров людей знающих и почтенных и чтобы все ее суждения были сколками с протоколов академических заседаний; рутину школы он называет вечными законами прекрасного; приговоры, произносимые с точки зрения этой рутины, называются независимым голосом, и все остальное обозначается именами, заимствованными из того же круга идей и понятий.

В элегическом излиянии г. Лонгинов представляет своим читателям те благодетельные следствия, которые могло бы иметь для нашего просвещения существование ученого собрания, подобного Французской академии. "При непрерывном изменении вкуса и переворотах в языке, - говорит г. Лонгинов, у нас была бы полезнее, чем где-либо, корпорация независимая, с авторитетом в деле словесности. Она несколько не стесняла бы доброй воли ценного писателя, как ему угодно (не правда ли, как это милостиво и великодушно!). Но она была бы хранилищем, где всякий мог бы почерпнуть сведения дельные; центром, где публика знакомилась бы с научными и литературными приемами, узнавала бы серьезно историю языка и словесности (очевидно, академия такого фасона была бы, по мечтам г. Лонгинова, - чем-то средним между присутственным местом, адресным столом и учебным заведением). Наконец она была бы местом соединения, где сходились бы писатели разных партий, которые теперь сидят по большей части безвыходно в своих кружках, в ущерб публике, литературе и самим себе, потому что они ничего не видят, кроме своих же действий, ничего не слышат, кроме своих же речей, повторяемых близкими их, да разных литературных сплетен". (Благодушно отворяя двери этой желанной академии для писателей разных партий, г. Лонгинов, очевидно, не предвидит того обстояательства, что могут найтись и такие писатели, которые и заглянуть не пожелают в такое спасительное учреждение. Впрочем, таких господ г. Лонгинов не признает писателями, почти так же, как читателей их он не признает публикою; - это, по его мнению, фельетонисты, башибузуки, зелье и язва нашей литературы, отравляющие здоровый вкус публики и мешающие развитию солидных и серьезных понятий. Вспомнив об этих нечестивых фельетонистах, г. Лонгинов, как молочница в басне Лафонтена, {26} видит, что надежды и радужные мечты его разлетаются в прах.) "Но, - говорит он с умиленной грустью, - можно ли думать о том, когда фельетонисты завладевают вниманием читателей, уничтожают все, что было до них, и провозглашают, что они знают не хотя общества, т. е. соединения более или менее образованных людей, а ищут популярности между своею братией и в массах?" Грусть и негодование г. Лонгинова мне понятны,* хотя, конечно, я, как фельетонист, не могу им сочувствовать. Кабинетная начитанность всегда претендует на авторитет, всегда считает себя головою выше толпы и всегда приходит в самое наивное негодование, когда эта толпа идет себе своею дорогою, не обращая никакого внимания на советы, предостережения и приговоры ученого собрания или отдельного ученого лица. В этом отношении люди кабинетов, архивов и библиотек очень похожи на тех деревенских книжников, которым, при невероятных трудах и усилиях, удалось одолеть дюжины полторы старых книг. Питая полное уважение к трудолюбию и к любознательности этих деревенских начетчиков, нельзя не заметить, что напряжение мозга над отдельными словами книг и часто безуспешные старания связать между собою в голове эти отдельные слова изнуряют мыслительные силы этих книжников; они зачитываются до такой степени, что теряют способность практического понимания, начинают вставлять в обыденный, житейский разговор отдельные выражения и цитаты из прочитанных книг, начинают говорить высоким слогом и в то же самое время, уважая себя за свои бесплодные труды и усилия, возвышаются в своем собственном мнении, становятся невыносимо самонадеянными и начинают смотреть свысока на "необразованных мужиков", которые с своей стороны смотрят на этих зазирающихся книжников с лукавою усмешкою полупрезрительного сострадания.

Роль, которую играют эти книжники в деревнях, может быть, отчасти объясняет то положение, в котором некоторая часть наших цеховых ученых {27} находится в отношении к массе грамотного общества. Эти ученые работают много, и между тем мы не видим плодов их занятий; они читают и перечитывают рукописи и старые книги; они выбиваются из сил, наводя какую-нибудь мелкую хронологическую справку или отыскивая потерянное значение какого-нибудь устарелого слова, встречающегося раза два в летописи или в старом переводе; сухость этой работы, утомительность подобных разысканий подает самому труженику повод думать, что он совершает великий подвиг самоотвержения, за который ему должны быть благодарны и современники и потомки. Самому труженику очень скучно возиться с старою рухлядью всякого рода, но от того, что он скучает и выбивается из сил, никто не чувствует для себя осязательной пользы или освежающего удовольствия и потому никто не говорит спасибо. А между тем труженик роется в архивах и библиотеках, поглощает огромные фолианты, отыскивает библиографические редкости и диковинки, уходит в тот мирок прошедшего, которого бледные отрывки сохранились на лоскутках бумаги и пергамента, и теряет способность понимать те побудительные причины, которые заставляют живых людей говорить и спорить, горячиться и приходить в негодование, страдать и радоваться, надеяться и

Московские мыслители. Дмитрий Иванович Писарев filosoff.org тревожится. Бедному труженику, постепенно убивающему в себе человеческие инстинкты, стремления и порывы свежего, здорового организма, начинает казаться, что жизнь состоит именно в том, чтобы преследовать слова и буквы из фолианта в фолиант, что мир истинный, широкий, великий лежит именно на полках его библиотеки. Он с досадою слышит за стенами этой библиотеки шум экипажей на улице, крики разносчиков, провозглашающих о своих товарах, песни мастеровых, мурлыкающих за работою, словом, все те звуки, в которых (Сказывается присутствие жизни. Все это кажется ему суетою, бессмыслицею, проявлением людской неразвитости, и только тот крошечный предмет, к которому присосались в эту минуту силы его ума, кажется ему действительно важным, одаренным самобытною, сильною, разумною жизнью. Относясь враждебно к звукам действительной жизни, цеховой ученый так же враждебно относится к отражению этих звуков и интересов в литературе. Оживленный спор о живом лице, о предмете вседневной жизни, об идее, к которой в интересах действительной жизни надо непременно отнестись так или иначе, кажутся заучившемуся труженику непозволительным скандалом, пустою тратою слов и времени, проявлением мальчишеского задора, следствием смешного желания заявить свои идеи перед лицом читающей публики.

С тех пор как журналистика сколько-нибудь оживилась, цеховые ученые стали к ней в враждебные отношения; они не понимают побуждений тех людей, которые, не щадя сил, не боясь трудностей, выражают в журналах свои убеждения и проводят свои тенденции; потерявши способность жить в атмосфере действительной жизни, они вместе с тем потеряли возможность судить об явлениях этой жизни; те мнения, которые им случается высказывать при нечаянном столкновении с вопросами, стоящими на очереди, отличаются такой античностью, о которой, не слыхавши подобных суждений, невозможно составить себе даже приблизительное понятие.

Винить записных ученых в этой античности идей и мнений, конечно, невозможно. Если работник, приводящий в движение какую-нибудь ручную машину, постоянно работает одною правою рукою, то с течением времени мускулы этой руки разовьются в ущерб мускулам всего остального тела, работник окажется изуродованным, и его уродство явится как естественное и неизбежное следствие его работы. Занятия труженика-специалиста точно так же односторонни, как работа ремесленника, пускающего в ход одну правую руку; у труженика-специалиста та или другая умственная способность, например память или наблюдательность, изоощряются до последних пределов, между тем как остальные мыслительные способности гложут и тупеют. И ремесленник, работающий одною правою рукою, и труженик-специалист, работающий именно только известными частицами мозга, могут быть очень полезны и даже совершенно необходимы для общества, но только надобно, чтобы каждый из них оставался на своем месте. Из хорошего ремесленника может выйти очень плохой музыкант, и труженик-специалист, очень полезный для составления словаря, хронологической таблицы или библиографического указателя, может до упаду насмешить читающую публику, если примется толковать об общественных интересах или пустится в эстетическую критику. Труд - дело почтенное; ветеран какого бы то ни было труда, предпринятого и веденного добросовестно, имеет право требовать себе под старость теплого угла от того общества, которому он посвятил свои силы и досуги; но если этот ветеран искалечен своею трудовою жизнью и, несмотря на свою благоприобретенную убогость, упорно лезет к такой работе, которую он не может выполнить как следует, тогда, при всем уважении к труду и к ветерану, каждый член общества будет иметь полное, разумное право дать ему дружеский совет: "Отойдите в сторону; это дело вам не под силу. Сидите себе на покое, не мешайте другим и, если вам скучно, занимайтесь для развлечения легкими штучками из вашей прежней работы, с которою вы успели свыкнуться в течение вашей жизни".

То, что я сказал о мнениях записных ученых вообще, то может быть в полном объеме применено почти ко всем статьям критического отдела "Русского вестника". Ярким представителем этого серьезного направления критической мысли является г. Лонгинов. Этот трудолюбивый библиограф, изумляющий публику обилием и точностью своих фактических сведений, касающихся истории нашей литературы в XVIII и в начале XIX века, оказывается крайне неопытным и неискусным на поприще журналистики. Как критик - он безличен; как мыслитель - он отличается только крайне развитою способностью благоговеть перед прошедшим и строить себе бесчисленное множество кумиров и авторитетов. Кто желает составить себе понятие об эстетическом вкусе г. Лонгинова, того я попрошу, в статье этого писателя о князе Вяземском, прочитать те стихотворения, которые г. критик находит очень замечательными.

Московские мыслители. Дмитрий Иванович Писарев filosoff.org
В этой статье приведено девять больших пьес, одна другой скучнее; голый дидактизм, не прикрытый даже яркостью поэтического образа, утомляет внимание читателя и тяжелым, несваримым комом ложится в его голову, не шевеля нервов и не возбуждая никакого другого чувства, кроме непробудной, безотрадной, гнетущей скуки. Вот для примера самая коротенькая из этих пьес, которые, по мнению г. Лонгинова, упрочивают за г. Вяземским почетное место в истории русской поэзии. Выписываю ее собственно потому, что она очень коротка и потому не слишком утомит моих читателей.

Любить. Молиться. Петь. Святое назначенье
Души, тоскующей в изгнании своем,
Святого таинства земное выраженье,
Предчувствие и скорбь о чем-то неземном,
Преданье темное о том, что было ясным,
И упование того, что будет вновь,
Души, настроенной к созвучию с прекрасным,
Три вечные струны: молитва, песнь, любовь!
Счастлив, кому дано познать отраду вашу,
кто чашу радости и горькой скорби чашу
Благословлял всегда с любовью и мольбой
И песни внутренней был арфою живой!

Мне кажется, сама г-жа Юлия Жадовская не могла бы написать стихотворения более слезливого, сентиментального, фразистого и ничтожного по содержанию; мне кажется даже, что у г-жи Жадовской стихотворение на эту тему вышло бы понятнее и изящнее по внешней форме. Что же касается до выписанной пьесы, принадлежащей перу князя Вяземского, то можно сказать без преувеличения, что приходится делать синтаксическую конструкцию, чтобы добраться до смысла, какой существует в этом наборе плаксивых слов. Замечу мимоходом, что стихотворение это написано в 1840 году, после смерти Пушкина, тогда, когда русский стих был почти окончательно выработан. Если г. Лонгинов восхищается подобными виршами, то это, очевидно, происходит оттого, что он к произведениям современных поэтов приступает с теми же требованиями, с какими он относится к какому-нибудь Сумарокову или Хераскову. Все дело сводится опять-таки на то, что антикварий - не критик, и библиограф - не журналист.

VIII

Критический отдел майской книжки открывается язвительною полемическою статьею, стремящеюся доказать, что все петербургские журналисты, пишущие легко, быстро и ясно, похожи на г. Аскоченского и достойны быть сотрудниками его "Домашней беседы". Об убийственном, неразборчивом в средствах и выражениях полемизме "Русского вестника" я уже говорил не раз, и потому общая мысль и направление этой статьи ("Одного поля ягоды") не может ни удивить меня, ни вызвать с моей стороны негодования. {28} Я не стану защищать петербургских литераторов, не стану спорить с "Русским вестником" о степени сходства "Времени" или "Современника" с "Домашнею беседою", {29} а просто вместе с моими читателями прогуляюсь по этой критической статье и осматриваю то, что в ней заслуживает внимания.

Поговорив об истории, о движении мысли, о великих началах, управляющих человеческою жизнью, автор статьи вдруг из области высокой отвлеченности спускается на почву действительной, да еще вдобавок русской жизни и начинает радоваться тому обстоятельству, что "у нас с недавних пор появилось много духовных изданий с разнообразными достоинствами" и что, следовательно, в нашем обществе существует "потребность этого рода чтения". Заявив свое удовольствие перед этим, без сомнения, отрадным фактом, г. критик переходит к частностям и начинает разбирать вопрос, нуждается ли божественная сила христианского слова в каких бы то ни было пособиях. "Не

Московские мыслители. Дмитрий Иванович Писарев filosoff.org следует ли, спрашивает автор, – довольствоваться одним разномыслием священных текстов в печати и ограничить ими одними всю духовную литературу?" Этот вопрос решается отрицательно, и критик "Русского вестника" приходит к тому убеждению, что должно, не ограничиваясь одним приведением текста, "изъяснять, истолковывать его, учить и убеждать людей и, стало быть, содействовать образованию в них таких нравственных и умственных настроений, каких требует христианская истина". Это мнение подкрепляется следующим историческим доводом: "Если Христос избрал некоторых учеников своих из среды людей простых и неученых, если эти рыбаки с одного слова, с одного взгляда его, покинув мрежи, пошли за ним, то кто решится применять к себе этот пример, вздумает, что одного взгляда, одного слова его будет достаточно подействовать на души?" Потом г. автор обращает внимание публики на то обстоятельство, что духовные лица и духовные корпорации издают журналы, в которых нет духа фанатизма, "нетерпимости или недоброжелательства к историческому ходу". "Напротив, – продолжает он, – если в нашей литературе оказывается нечто в этом духе, то все такое выходит не из среды духовенства, не имеет никакого отношения к церкви и есть плод досуга людей, столько же чуждых ей по своему положению, сколько и по духу". К числу людей, чуждых церкви по своему положению и по духу, причисляется г. Асоченский, которому, конечно, подобный упрек покажется более чувствительным, чем все нападения прогрессистов. Критик "Русского вестника" доказывает с большим жаром и с немалою силою красноречия, что нет и не может быть ни малейшей солидарности "между изданиями, как "Маяк" {30} или "Домашняя беседа", и православною церковью или русским духовенством". _Совершенно справедливо_ отрицающая всякое соотношение между "Домашнею беседою" и русским духовенством, Р. критик с замечательною изобретательностью и гибкостью ума сближает между собою воззрения г. Асоченского "с политическими и философскими статьями наших прогрессистов". "То же циническое глумление над человеческою свободою, восклицает критик, – то же презрение к истине, то же наездническое обращение с действительностью, та же ухарская заносчивость в суждениях о фактах и лицах, тот же дух и тот же смысл, и из тех же причин те же результаты... Они совершенно сходятся в своих отрицаниях, а если и расходятся в некоторых из своих положений, то эти различия, отрывочные, бессильные и темные, ничем не отзовутся в результатах и сами собою исчезают в дружном содействии родственных и однозвучных отрицаний. Дух тьмы и слепой случай – кто будет взвешивать разницу этих понятий? А сходство их результатов несомненно. Возможно ли, чтобы христианская мысль могла прийти к такому воззрению на мир? Возможно ли, чтобы мысль, искренно ищущая истины, могла успокоиться на таком воззрении? И религиозному чувству, и мыслящему уму, и зрелому опыту жизни известно, что мир, в котором мы живем, не есть мир божественный; и что во всем человеческом есть неизбежное семя зла, что самые ж высшие степени человеческого превосходства не изъяты от злоупотреблений и что никакая высота не спасет человека от падения. Но мир этот существует, и христианский смысл говорит нам, что если мир существует, то бог его терпит, что он в какой-либо мере положил в нем свое благоволение и что самое зло обращается в орудие к раскрытию истины, к осуществлению блага". Красноречие, вроде приведенного отрывка, продолжается на четырех страницах; постепенно разгорячая самого себя потоком своего красноречия, оглушая себя каскадом слов и периодов, г. критик доходит до пафоса и, как скандинавский берсеркер, {31} с глазами налившимися кровью и желчью, кидается на вечных своих врагов, на петербургских фельетонистов, которых он ненавидит беспредельною ненавистью соперника-журналиста. На нашу бедную литературу сыпятся такие ругательства, каких, может быть, не сумел бы подобрать даже рассердившийся Иван Никифорович, такие ругательства, какие, может быть, поленился бы произнести даже мрачный Михайло Иваныч Собакевич. Журналистика равняется, по приговору "Русского вестника", океану "пустословия, пошлости, фальши, фраз без смысла, затопляющих нашу литературу, литературу без науки, без всяких норм, без значительных серьезных преданий".

Решительно приходится согласиться с тем, что мы живем в минуту всемирного потопа и можем покуда дышать только благодаря уродливому устройству наших легких; ковчег, в который, конечно, не пустят нас, нечестивых фельетонистов, плавает по водам и покуда не садился на мель ни на каком Арате; из этого ковчега вылетает, как невинный голубь, "Русский вестник" и бесцельно, безнадежно кружится над мутными волнами, не представляющими его тоскливо-ищущему взору ничего отрадного; ему некуда опуститься, не на чем отдохнуть, негде найти масличную веточку; бедный голубок! Ему придется, покругившись в пространстве, воротиться под спасительную крышу объемистого ковчега и навсегда отказаться от деятельной роли в грандиозной и вместе с тем хаотической драме потопа. Впрочем, критик "Русского вестника" начинает

Московские мыслители. Дмитрий Иванович Писарев filosoff.org замечать, что он кружится в пространстве и тоскует беспредметною тоскою; чтобы разом прекратить это бесплодное и утомительное занятие, он внезапно опускается к океану пошлостей, пустословия и фальши, наудачу черпает из него полную пригоршню разной дряни и подносит ее своим читателям, говоря им торжествующим тоном человека, имеющего возможность доказать непреложную истину своих слов: "Видите, видите, что это за гадость; видите, сколько пустословия, пошлости и фальши!" Пригоршня, зачерпнутая г. критиком из мутного океана, затопляющего нашу литературу, оказалась одним из фельетонов г. Кускова, {32} который, конечно, настолько же может воплотить в себе тип русского журналиста, насколько он может воплотить в себе тип русского поэта. Было бы довольно дико, если бы какой-нибудь иностранец вздумал глумиться над пустотою русской поэзии и в подтверждение своих слов стал бы приводить многочисленные цитаты из поэтических произведений г. Кускова; такому господину можно было бы, я думаю, заметить, что поглумиться в русской поэзии есть над чем, но что для этого надо брать более крупных представителей поэзии, таких людей, в стихотворениях которых действительно выражаются рельефные, дурные или хорошие особенности нашей поэзии. Со стороны русского журналиста, подвергающего критическому анализу явления русской же журналистики, мы имеем полное право требовать основательного знакомства с делом; его приговоры должны быть произносимы над всю совокупностью литературных явлений, и потому бросить петербургской журналистике упрек в хлестаковстве и привести в подтверждение своих слов цитаты из фельетона г. Кускова - это, воля ваша, прием в высшей степени недобросовестный; тут, очевидно, автор рассчитывает на легкомыслие нашей публики и на то обстоятельство, что эта публика покуда остается довольно равнодушною к литературным прениям и к печатному слову вообще.

Действительно, при теперешней, еще не вполне нарушенной апатии нашего общества печатные обвинения всякого рода но вызывают в читающих людях ни особенного сочувствия, ни энергического протеста; теперь можно, не опасаясь общественного мнения, клеветать и на литературу и на литераторов; голословная клевета не упадет на самого клеветника и не замарает его имени только потому, что публика, не заинтересованная движением идей и столкновением мнений, завтра забывает то, что читает сегодня, и часто не дает себе труда справиться ни об имени автора или редактора, ни о степени достоверности печатного нападения; делаясь таким образом безопасною для самого клеветника, печатная клевета в то же время становится безвредною и для того, против кого она направлена. Гг. Булгарин и Ксенофонт Полевой клеветали на Пушкина, {33} г. Асоченский клеветает на все, что не участвует в "Домашней беседе", "Русский вестник" клеветает на всю петербургскую журналистику, "Искра" оклеветала недавно г. Писемского; {34} несмотря на все эти клеветы, следующие друг за другом как частые извержения мелких грязных вулканов, публика продолжает относиться к оклеветанным субъектам так же кротко и ласково, как она относилась к ним до выхода в свет клеветующих статей и статей. Пушкин остался великим русским поэтом, несмотря на сильные крики булгаринской партии; лица, не участвующие в "Домашней беседе", не считаются воплощениями антихриста, хотя г. Асоченский твердит это на все лады; петербургская журналистика пользуется вниманием публики, несмотря на то, что "Русский вестник" уподобил ее океану пустословия, пошлостей и фальши; Писемский попрежнему останется первым русским художником-реалистом и попрежнему будет пользоваться сочувствием и уважением всех мыслящих людей России, несмотря на все восклицания хроникера "Искры", напоминающего собою моську в известной басне Крылова.

Печатное слово не начинало еще быть в нашем обществе опасным орудием, и потому старые дети, подобные редакторам "Русского вестника", шалят им, как тупым ножом, не боясь обрезаться. Шалости их иногда бывают чрезвычайно оригинальны. Автор статьи "Одного поля ягоды" дошалился до того, что закончил свою статью следующей загадочною выходкою, направленною опятьтаки против хлестаковых, господствующих в периодической литературе. "Таких молодцов, - восклицает он, - действительно нельзя не побаиваться. Зарезать они не зарезут, но не кладите вашего четвертака плохо". Тревожное настроение, под влиянием которого критик "Русского вестника" дошел до забвения всяких литературных и житейских приличий, произошло вследствие чтения фельетонов г. Кускова. Надо подивиться тому обстоятельству, что г. Кусков, писатель кроткий и безвредный до последней степени, мог возбудить против себя такую страшную бурю негодования. Г. Кусков, который в безвестной тиши мог бы в продолжение целых десятилетий писать гладким языком фельетоны и плачевные стихотворения, г. Кусков, который при конце своей жизни мог бы самого себя причислить к "явлениям, пропущенным нашею критикою", {35} вдруг осыпается из Москвы градом незаслуженных ругательств,

Московские мыслители. Дмитрий Иванович Писарев filosoff.org обвиняется в нравственной изломанности, опозоривается именем Тряпичкина и сравнивается, наконец, с новой Мессалиной, "о которой рассказывают, что, не довольствуясь Европой, она ездила в Алжирию к кабилам". Вся эта буря в стакане воды поднялась против г. Кускова за то, что он осмелился в своем фельетоне провести следующую мысль: иногда можно уголовного преступника уважать больше, чем того безукоризненного перед законом гражданина, который произносит над ним приговор. Заслышав эту еретическую мысль, "Русский вестник" восстает против нее во всем величии добродетельного негодования и доходит до такого пафоса, до которого, как мне казалось, может доходить только очень набожная старуха. "Возмутительный душегуб, за которым отказывается следить всякое человеческое чувство, всякий человеческий смысл, этот зверь, который бросается на свою жертву с тем, чтобы удовлетворить минутную прихоть, даже хуже, чем зверь, потому что у зверя по крайней мере нет прихотей, - это чудовище является, в глазах Тряпичкина, могучим человеческим образом, обаятельным и чарующим, подавляющим мелкие душонки, которые прячутся под грудю правил, пестрящих прописи и азбуки". Увлекаясь негодованием, критик "Русского вестника" не замечает того, что вопрос о преступнике ставится очень просто; тут является следующая дилемма: или он одарен врожденными инстинктами, или он развращен воспитанием, влиянием, советами и примером окружающего общества или круга людей. В первом случае он - больной, которого надо только сделать безвредным, во втором случае он сам - несчастная жертва, о которой можно пожалеть, он сам - герой страшной трагедии, погибающий под гнетом враждебных обстоятельств. Наполеон I, желая потешить одну барыню, за которую он ухаживал, приказал сделать на неприятельский лагерь бесполезное нападение, которое стоило жизни нескольким солдатам; мы читаем этот факт в его истории и замечаем очень кротко, что Наполеон в молодости был непрочь подурачиться и пошалить; в то же самое время мы читаем в газетах, что какой-нибудь мужичонка с голоду зарезал купца и очистил его кошелек, - и мы возмущаемся, и мы находим, что наказание плетью и ссылка в рудники едва покрывают его вину. Воришек бьют за те самые поступки, которые сходят с рук вору.

IX

Скучно и утомительно следить за критическим отделом "Русского вестника"; не на чем остановиться; нет свежей идеи, которой можно было бы выразить свое сочувствие; нет живого слова, которое могло бы хоть сколько-нибудь шевельнуть мозговые нервы. Пять книжек (от января до мая) просмотрено; почти пятьдесят страниц написано по поводу их; стало быть, можно считать дело порешенным. Если продолжать подробный разбор отдельных критических статей, то это будет только накопление мелких фактов, способных, наконец, утомить внимание самого терпеливого и благосклонного читателя. Если выводить общее заключение из всего, что было сказано мною о критическом отделе "Русского вестника", то это будет сокращенное, сухое, бесполезное повторение всего того, что уже успели просмотреть читатели. Поэтому приведу еще два-три критические перла и покончу на том мою неумеренно разросшуюся статью.

Перл э 1. Г. Лонгинов в статье "Белинский и его лжеученики" признал влияние Белинского вредным на том основании, что Белинский плохо знал историю нашей литературы. В подтверждение этого обвинения, направленного против первого русского критика, приводится следующее обстоятельство:

"В обзоре русской литературы до Пушкина Белинский приводит (пишет г. Лонгинов) отрывок из предисловия Хераскова к повести его "Полидор", вышедшей в 1794 году. В этом предисловии автор обращается к известным русским писателям. У Хераскова имена их обозначены первыми буквами их фамилий. Белинский выставляет полные имена Ломоносова, Державина, Карамзина, Нелединского, Дмитриева, Богдановича и Петрова. Но тут же вышло и затруднение. После обращения к Л. (Ломоносову) Херасков говорит: "_Может ли кто не плениться нежными и приятными звуками С.?" Очевидно, что Херасков разумел тут А. П. Сумарокова, с которым много лет шел по одному пути, как лирик и драматург, и сочинениями которого продолжал пленяться до своей смерти, подобно многим современникам. Но Белинский делает при букве С. следующую выноску: "_Должно быть, дело идет о Евстафии Станевиче, весьма плохом пиите того времени_".

Затем г. Лонгинов очень убедительно доказывает, что Станевича не мог хвалить Херасков и что Белинский сделал грубую ошибку, что он поддавался увлечению "собственных страстей и пристрастий" и что его литературные приговоры писаны "иногда в ослеплении пристрастия".

Все дело кончается тем, что г. Лонгинов приводит следующий отрывок из одного неизданного стихотворения:

Затем на скопище клеветов
Решил верховный их совет,
Что, так как нет авторитетов,
Белинский будь авторитет. {36}

Вред, принесенный Белинским, состоит, по подлинным словам г. Лонгинова, "в расположении самодовольных и пустозвонных горланов, думающих заставить человечество забыть все то, что было до появления их на журнальное поприще".

Перл э 2. Статья г. Густава де Молилари о книге Прудона "La guerre et la paix", {"Война и мир". - Ред.} занимающая с лишком два листа и доказывающая непобедимыми доводами, что у Прудона нет ни сведений, ни способности логически мыслить, а есть только ученые эффекты, которые уже устарели и надоели публике.

Перл э 3. Стихотворение князя Вяземского "Заметка", {37} выражающее в самых оригинальных образах самые неожиданные идеи и оканчивающееся двумя классическими куплетами:

Свободен тот один, кто умирал желанья,
Кто светел и душой и помышленьем чист,
Кого не обольстят толпы рукоплесканья,
Кого не уязвит нахальной черни свист.
Нелепым равенством он высших не унизит,
Но, в предназначенной от промысла борьбе
Посредник, он бойцов любовным словом сблизит
И скажет старшему: "Я младший брат тебе".

Хотя "Заметка" князя Вяземского помещена не в критическом отделе и хотя вообще не принято писать критические или полемические статьи в стихах, однако всякий согласится с тем, что отнести эту вещь к области поэзии нет никакой возможности. В ней нет ни одного образа, и вся разница между этой заметкой и элегической заметкой, {38} помещенной в той же августовской книжке, в самом конце критического отдела, заключается в том, что первая написана шестистопным ямбом, а вторая - презренной прозой. Смысл и направление их тождественны, выражения одинаковы или по крайней мере сходны; голословность выходок и замашка направлять свои удары в пустое пространство замечаются как в произведении князя Вяземского, так и в элегическом воздыхании редакции "Русского вестника". Поэтому, помещая в число критических перлов стихотворение престарелого поэта, я вместе с тем обращаю внимание читателей на все критические статьи "Русского вестника", в которых веет дух раздраженной солидности, в которых выражается никем не признанное притязание учить общество, становиться во главе его и вести его за собою по пути разумного, умеренного прогресса.

Перл э 4. Статья "кое-что о прогрессе", в которой свистуны сравниваются с гнилью и в которой в первый раз "Русский вестник" делает мне честь упомянуть об одной моей статье. Он не называет ни меня, ни заглавия моей статьи, ни даже того журнала, в котором я пишу, но он берет из "Схоластики XIX века" одну цитату, {39} которая осталась мне памятна по многим обстоятельствам. Я благодарю "Русский вестник" за его враждебный отзыв о моей статье и об этой цитате; мне приятно видеть, что мои идеи не нравятся московским мыслителям, и я уверен, что многие пишущие люди желают наравне со мною, чтобы "Русский вестник" относился .как можно суровее к ним и к их литературной деятельности.

Московские мыслители. Дмитрий Иванович Писарев filosoff.org
Пора, давно пора кончить. Надеюсь, что нам не придется больше встречаться с "Русским вестником" на поприще журнальной полемики; мы расходимся так сильно в мнениях и наклонностях, что мы можем прожить целый век, не встречаясь между собою, не пробуя до чего-нибудь договориться и не чувствуя ни малейшего желания сблизиться между собою на каком бы то ни было вопросе.

ПРИМЕЧАНИЯ

Впервые напечатана в журнале "Русское слово", 1862, кн. 1 и 2. В первое издание сочинений не включалась. Здесь воспроизводится по тексту журнала.

Статья "Московские мыслители" тесно связана со "Схоластикой XIX века" и продолжает начатую там борьбу с "Русским вестником" Каткова. В обстановке обострившейся классовой борьбы после "крестьянской реформы" 19 февраля 1861 г. разоблачение реакционной идеологии, проводимой на страницах "Русского вестника", получило особенно острое значение. В лице Каткова революционные демократы имели дело с хитрым и опасным врагом в сфере журналистики. Прикрываясь либеральными фразами о "подлинном", "постепенном и разумном" прогрессе, выдавая свой журнал за орган "солидной мысли" и эксплуатируя сложившийся в 1850-х гг. успех журнала у либерального читателя, Катков в 1861 г. вел на страницах журнала систематическую травлю революционных демократов, особенно журнала "Современник" и его руководителей (см. об этом в прим. к статье "Схоластика XIX века"). Катков своими "разоблачениями" подстрекал реакцию к расправе над Чернышевским. "Русский вестник" в ходе развития классовой борьбы в 1861 г., когда либералы, напуганные ростом революционного движения в стране, вступили на путь прямого соглашения с царизмом и крепостниками, становится основным антидемократическим органом печати. В своей статье Писарев разоблачает реакционный смысл "положительной программы" журнала Каткова, осмеивает его бессильные претензии на роль "идейного руководителя" общественного мнения. Отказываясь от полемики с "Русским вестником", Писарев тем самым подчеркивает, что между "Русским вестником" и демократической журналистикой нет и не может быть никаких точек соприкосновения, что это - явления двух миров, двух непримиримых лагерей.

Писарев выступает здесь как блестящий мастер боевого памфлета, вскрывая идейное убожество реакционной литературы и срывая с критики "Русского вестника" маску академического беспристрастия и либерального благообразия.

1 Отрицательное направление - здесь в смысле: отрицающего, критического по отношению к существовавшему строю.

2 Гоголь проводит параллель между двумя писателями в лирическом вступлении к гл. VII первого тома "Мертвых душ". Легкому и шумному успеху писателя, который "окурил упоительным куревом людские очи... чудно польстил им, открыв печальное в жизни", он противопоставляет тяжкий удел в тогдешней действительности того писателя, который дерзает "вызвать наружу все, что ежеминутно перед очами", "всю страшную, потрясающую тину мелочей, опутавших нашу жизнь". Ту же параллель повторяет Некрасов в стихотворении "Блажен незлобивый поэт..." (1852).

3 Московские мудрецы - Катков и сотрудники журнала "Русский вестник".

4 Писарев имеет в виду свою рецензию на книжку лексикографа и публициста Н. П. Макарова (псевдоним: Гермоген Трехзвездочкин) "Победа над самодурами и страдальческий крест. Сатирическая бивальщина", представлявшую собою одну из пошлых спекуляций на "обличительной" теме, распространенных в тогдешней либерально-охранительной литературе. Уничтожающий разбор ее Писарев опубликовал в журнале "Русское слово", 1861, кн. 11. В кн. 12 журнала Писарев опять вернулся к этой теме, отвечая на обвинения Макарова в пристрастно-несправедливом подходе к его книжке (см. Сочинения Д. И. Писарева, 5-е изд. Ф. Павленкова, т. I, СПб. 1909, стр. 552-562). В прибавлении к э 6 "Русского инвалида" от 10 января 1862 г. было опубликовано также письмо Писарева с ответом на обвинения со стороны редактора "литературных опытов" Г. Трехзвездочкина в "недобросовестности" критических приемов Писарева.

5 "Время" - см. прим. 3 к статье "Схоластика XIX века".

6 "Современная летопись" - первоначально отдел в журнале "Русский,

Московские мыслители. Дмитрий Иванович Писарев filosoff.org вестник", посвященный вопросам политики, литературной критики и библиографии; с 1861 г. стала выходить как отдельное еженедельное приложение к журналу. В 1861 г. в журнале "Русский вестник" также появился новый отдел "Литературное обозрение и заметки", по преимуществу заполнявшийся статьями и заметками, направленными против революционно-демократической журналистики.

7 Небольшая редакционная статья "Несколько слов вместо современной летописи" ("Русский вестник", 1861, кн. 1), принадлежавшая Каткову, открыла серию выпадов и инсинуаций "Русского вестника" в адрес революционно-демократической журналистики, и прежде всего "Современника" Чернышевского и Добролюбова. Цитируемые далее Писаревым строки из этой статьи и представляют выпад против "Современника", против литературно-критических и эстетических взглядов Чернышевского и Добролюбова.

8 Русским ученым, издающим уважаемый журнал, Писарев иронически называет Каткова. Катков начал свою карьеру в 1840-х гг. как филолог (его магистерская диссертация "Об элементах и формах славяно-русского языка", М. 1845). В 1853 г. в сб. "Прописи" была опубликована его работа "Очерки древнейшего периода греческой философии". Позднее в "Русском вестнике" за 1856 г. выступил и как литературный критик (статьи о Пушкине и Кольцове). Впоследствии как редактор "Русского вестника" и "Московских ведомостей" Катков "специализировался" на политических и публицистических статьях, посвященных защите реакции и нападкам на передовую мысль.

9 Статья С. С. Громеки "О полиции вне полиции" была помещена в "Русском вестнике", 1858, кн. 9. В ней автор, выступая с позиций либерала-"обличителя", выдвигал требование буржуазной реформы суда и полиции. Писарев вскрывает ограниченный классовый характер подобных выступлений либеральной публицистики, которые выставляли в качестве идеала устройство суда и полиции в буржуазной Англии.

10 "Северная пчела" - газета, издававшаяся в Петербурге с 1825 по 1864 г.; до 1860 г. выходила под редакцией Булгарина и Греча. Сопоставляя желание "Русского вестника" нести "свою долю полицейских обязанностей в литературе" с "деятельностью" Вулгарина и Греча, агентов III отделения, известных своими гнусными доносами на передовую русскую литературу, Писарев раскрывает перед читателем подлинную цель критики "Русского вестника".

11 Фраза о "литературных скандалах", о "литературе скандала" пошла в ход в реакционной и либеральной журналистике с конца 1860 г. и была обращена против революционно-демократической литературы. В связи с выходом в 1860 г. отдельным изданием сатирических фельетонов И. И. Панаева - "Очерки из петербургской жизни Нового поэта" - либеральная критика выступила против революционно-демократической сатиры "Свистка", в защиту представителей дворянского "чистого искусства". В "Отечественных записках" (1860, кн. 10) явилась статья "Литература скандалов". В редакционном послесловии к этой статье революционно-демократической литература обвинялась в клевете, в распространении сплетен, в паясничестве и т. д. Это обвинение было подхвачено другими охранительными журналами и вызвало в ответ меткие и язвительные отклики в демократических органах - в "Современнике", "Русском слове", "Искре".

12 Статья Каткова (без подписи) "Старые боги и новые боги" была направлена против "Современника" и материалистических взглядов, проводимых в нем. Посвященная в основном нападкам на статью М. А. Антоновича "Современная философия" ("Современник", 1861, кн. 2), статья Каткова в конце содержала издевательскую оценку философских и экономических работ Н. Г. Чернышевского и угрозы по его адресу, явно намекая на его революционную деятельность.

13 Свистящими журналами, здесь Писарев называет журналы революционно-демократического направления (от названия сатирико-полемического отдела "Свисток", организованного в "Современнике" Н. А. Добролюбовым).

14 Иван Яковлевич-Корейша - московский юридивый; в 1850-1860-х гг. был популярен как "прорицатель" среди мещан, купцов и светских дам, ездивших к нему в сумасшедший дом за советами. Фразу "Без працы не бендзы кололацы" (испорченное польское: "без труда не будет калачей"), представлявшую один из таких ответов московского "оракула", использовал Катков в своих нападках

Московские мыслители. Дмитрий Иванович Писарев filosoff.org
на "Современник" и его руководителей.

15 В упоминаемой статье Катков лицемерно пытался выдать М. А. Антоновича за противника материализма, превратно истолковывая иронические замечания Антоновича в адрес автора "Философского лексикона" Гогоцкого относительно того, что последний недостаточно и слабо опровергает материализм.

16 Пандемониум – в поэме английского поэта Джона Мильтона "Потерянный рай" название столицы ада, где сатана созывал совет демонов. Под кумирами философского пандемониума Писарев понимает здесь философов-идеалистов Платона, Гегеля и др.

17 "Странник" – религиозный православный журнал, начавший выходить в 1860 г. – "Русский вестник" – см. прим. 1 к статье "Схоластика XIX века". "Отечественные записки" – прим. 3 там же. – "Искра" – сатирический еженедельный журнал революционно-демократического направления, выходивший в 1859–1873 гг. под редакцией известного карикатуриста Н. А. Степанова и поэта В. С. Курочкина. – "Русский инвалид" – газета официального характера, связанная с военным ведомством; издавалась с 1813 г. – "День" – см. прим. 13 к статье "Писемский, Тургенев и Гончаров". – "Наше время" – "газета политическая и литературная"; выходила, в Москве с 1861 по 1863 г. под редакцией Н. Ф. Павлова (1805–1864), выступившего в 1830-х гг. с несколькими талантливыми и прогрессивными по направлению повестями; в 1860-х гг. Павлов заявил себя как ренегат, стал реакционным публицистом. Газета "Наше время" неоднократно прибегала к клевете на революционно-демократическое движение и его руководителей.

18 Под петербургскими литераторами Писарев понимает здесь демократических писателей, сотрудников издававшихся в Петербурге журналов "Современник" и "Русское слово".

19 Слова фамусова из "Горя от ума" Грибоедова (д. I, явл. 4).

20 Имеется в виду направленная против революционно-демократической литературы статья Каткова (без подписи) "Наш язык и что такое свистуны". О г-же Толмачевой см. прим. 11 и 15 к статье "Схоластика XIX века".

21 Свистуны – см. прим. 23 к статье "Схоластика XIX века".

22 "Солдатская беседа" – см. прим. 2 к статье "Народные книжки".

23 Статья реакционного философа, профессора Киевской духовной академии П. Юркевида, посвященная "опровержению" материализма Чернышевского и его работы "Антропологический принцип в философии", первоначально была помещена в "Трудах Киевской духовной академии" (1860, кн. 4). М. Катков, всячески рекламируя эту статью П. Юркевича и возлагая на нее большие надежды в своей борьбе с "Современником", опубликовал обширные извлечения из нее в кн. 4 и 5 "Русского вестника" за 1861 г. Чернышевский дал уничтожающую характеристику взглядов Юркевича в "Полевых красотах", опубликованных в "Современнике", 1861, кн. 6.

24 Статья петербургского журналиста – работа Чернышевского "Антропологический принцип в философии", опубликованная в "Современнике", 1860. кн. 4 и 5.

25 Пятидесятилетие литературной деятельности П. А. Вяземского, отмечавшееся в марте 1861 г., вызвало неумеренные восторги по поводу его деятельности со стороны отдельных его единомышленников. В связи с этим реакционные публицисты сделали также ряд выпадов против передовой демократической литературы. Все это вызвало резкую полемику, в ходе которой с едкой характеристикой юбиляра и поднятой вокруг этого юбилея шумихи выступили представители демократической литературы (см., напр., сатирические отклики на этот юбилей Д. Д. Минаева в "Искре" и в "Русском слове" "Дневник Темного человека").

26 В басне Лафонтена "Молочница и горшок молока" рассказывается о девушке, несшей молоко на продажу. Размечтавшись о том, что она приобретет, выручив деньги, она уронила горшок с молоком и разбила его.

27 Цеховые ученые – выражение, впервые употребленное Герценом в его письмах "Дилетантизм в науке" для обозначения ученых, оторванных от народа и

Московские мыслители. Дмитрий Иванович Писарев filosoff.org живущих в кругу чисто профессиональных интересов.

28 Неподписанная статья "Одного поля ягоды" ("Русский вестник", 1861. кн. 5) принадлежит М. Каткову; в ней Катков выступает с реакционным огульным обвинением современной журналистики в "хлестаковстве" и т. п.

29 "Домашняя беседа" – см. прим. 22 к статье "Схоластика XIX века".

30 "Маяк" – журнал крайне реакционного направления, выходивший в Петербурге в 1840–1845 гг. под редакцией С. Бурачка и П. Корсакова; отличался мракобесными выходками против передовой русской литературы.

31 Берзеркеры – по древнеисландским сказаниям неистовые воины, бросавшиеся в битву полуобнаженными, без доспехов.

32 Имеется в виду фельетон поэта и журналиста Пл. Кускова "Некоторые размышления по поводу некоторых вопросов" в журнале "Время", 1861, кн. 4. Фельетон касался нескольких злободневных инцидентов, в частности истории с Толмачевой.

33 В э 255 "Северной пчелы" за 1855 г. была помещена статейка Кс. Полевого с гнусными нападками на Пушкина. Она вызвала резкий отпор в "Современнике" ("Заметки о журналах за ноябрь 1855" ("Современник", 1855, кн. 12), принадлежащие Н. А. Некрасову, – см. Н. А. Некрасов, Полное собрание сочинений и писем, т. X, М. 1950, стр. 362–365).

34 "Искра" выступила против Писемского в начале 1862 г. по поводу его фельетона в "Библиотеке для чтения" (1861, кн. 12, под псевдонимом: "Никита Безрылов"), где высмеивалась женская эмансипация, воскресные школы и т. д. Г. З. Елисеев в "Хронике прогресса" ("Искра", 1862, э 5) сравнил Писемского с Аскоческим. Выступление "Искры" по поводу Писемского вызвало шум в литературных кругах. Редактор газеты "Русский мир" Гиероглифов пытался организовать коллективный протест писателей против этих якобы клеветнических выпадов "Искры" в отношении Писемского. Протест не состоялся ввиду расхождения мнений по этому частному эпизоду даже в демократической журналистике. "Современник" солидаризировался в оценке фельетона Писемского с "Искрой". "Русское слово" (и в частности Писарев, как это видно из комментируемого места его статьи) считало нападение "Искры" несправедливым и бестактным.

36 Под общим заглавием: "Явления современной литературы, пропущенные нашею критикою", в журнале "Время" за 1861–1869 гг. печатались критические статьи о некоторых писателях.

36 Лонгинов цитировал здесь строфу из злобного стихотворного пасквиля П. А. Вяземского на революционно-демократическую литературу 1860-х гг. ("Башибузук литературный..."). Стихотворение при жизни Вяземского полностью не публиковалось.

37 Стихотворение П. Вяземского "Заметка", напечатанное в кн. 8 "Русского вестника" за 1861 г., содержало ряд клеветнических выпадов против демократической литературы.

38 "Элегическая заметка" (без подписи) в кн. 8 "Русского вестника" за 1861 г. содержала всяческие поношения по адресу передовой литературы и науки; в ней клеветнически утверждалось, что в русском обществе нет мысли, нет науки и т. д.

39 Писарев имеет в виду следующее место из своей статьи "Схоластика XIX века": "Вот ultimatum нашего лагеря: что можно разбить, то и нужно разбивать" и т. д. (см. стр. 135 этого тома). Это место из статьи Писарева и приводилось в редакционной статье "Русского вестника" "Кое-что о прогрессе" (кн. 10 за 1861 г.) как пример "беззаветного отрицания". Статья "Русского вестника" сопровождает эту цитату грубыми выпадами против Писарева, не называя его, однако, по имени. Говоря о том, что эта цитата осталась ему памятной по многим обстоятельствам, Писарев, очевидно, имеет в виду цензурные затруднения в связи с необходимостью выразить этот свой вывод в статье.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке <http://filosoff.org/> Приятного чтения!
<http://buckshee.petimer.ru/> форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

Московские мыслители. Дмитрий Иванович Писарев filosoff.org
<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет
магазин обуви Интернет магазин
<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных
сайтов. Интеграция, Хостинг.
<http://dostoevskiyfyodor.ru/> Приятного чтения!